

Борис Хазанов

Миф Германия

Статьи и этюды

2001

СОДЕРЖАНИЕ

Жабры и лёгкие языка	10570 печ.зн.	6 стр.
Любимый ученик	21432	13
Возвращение Агасфера	8703	5
Штирлиц, или красота фашизма	13757	8
Творческий путь Геббельса	40658	28
Десять праведников в Содоме	57433	35
Тютчев в Мюнхене	14915	9
Вейнингер и двойник	33734	20
Чёрное солнце философии: Шопенгауэр	17624	11
К северу от будущего: Хайдеггер и Целан	14708	9
Улица Аси Лацис: Бенъямин	7909	5
О Музиле	12436	7
Клаус Манн	15435	9
Плечом к плечу	5799	4
Ута, или путешествие из Германии в Германию	22278	13
Буквы	7175	5
Немецкий эпилог: неотправленное письмо	32598	21

(Всего: 337,2 тыс. печатных знаков, 905 KB, 205 страниц)

Жабры и лёгкие языка

Между Чистыми прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах старой Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, стоит диковинное полувосточное сооружение, в котором гений архитектора спорит с безвкусицей взбалмошного заказчика; до времён нашего детства дожила легенда о том, что потомок татарских мурз проиграл свой дворец в карты. Должно быть, это было уже после того, как князь убил святого старца Распутина. Вскоре начались известные события, новый владелец палат бежал вслед за старым. Дворец остался. Несколько старых клёнов простёрли свои ветки над переулком, и каждый год расточительная осень устилает жёлтыми клеёнчатыми листьями тротуар и лужайку за чугунной оградой.

Мир ребёнка не тесней, а просторнее мира взрослых; вопреки известной теории, мы живём в сужающейся вселенной; в день паломничества к местам детства, в одно ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных улочек там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунным узором ограды назывался в те времена Юсуповским садом. Там бродили, шурша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке вверх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая дама по имени Эрнэ Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени она оглядывалась, и тот, кто всё ещё болтал с соседом по-русски, знал, что его ждут неприятности.

В большой комнате у Эрнэ Эдуардовны, за круглым столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами что кому вздумается и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрнэ Эдуардовны. Года через два настало время итти в школу, и гулянья в саду прекратились; немецкий язык быстро испарился, осталась память о лёгком дыхании незвонкой гортанной речи; этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет, но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулёза посеял панику в сердцах

моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу. Между тем на западе клубились тучи, близость большой войны не была тайной, и всё же война разразилась в день, когда её никто не ждал. На улицах гремела музыка. В первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла, пропал без вести Эрик, самый стойкий патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери, но и еврейского отца, к тому времени умершего всё от того же туберкулёза, не спасло Эрика от пожизненного изгнания; много позже из тёмных слухов узнали, что оба были вывезены в Казахстан.

Дела шли всё хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией угодило в огромный котёл между Вязьмой и Смоленском. Немало времени протекло, прежде чем мы получили известие от отца: он был одним из немногих, кому удалось выйти из окружения. Никто не знал о том, что красноармейцы миллионами сдаются в плен, и можно было только догадываться, что немцы уже совсем близко.

Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома, переулка и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей ничего общего с войной, – при том, что фронт придвинулся к Сталинграду, – я надумал учить заново этот язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили немецкий, не хуже и лучше, чем во всех школах, и довольно быстро обогнал своих одноклассников; учитель, литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и говорил со мной на священном языке Клопштока и Гёте. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы мне разрешили войти во двор поблизости от почтамта, где работали пленные. Парень постарше меня, вернувшийся с фронта и работавший, как и я, сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую я не могу припомнить. Наступило изумительное время, война кончилась. Никто никогда не поймёт, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетный лист крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломились от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать «Фауста», пожухлый томик, изданный в

Штутгарте в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной на всю столицу маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен» Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша показала пальцем на соседнюю комнату, где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в другую дверь и сбежал – разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором античной литературы тем, что продекламировал знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о пифагоровой музыке сфер. А ко дню рождения дядя преподнёс мне двухтомный трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в синих переплётах с серебряным тиснением.

Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь лёгкое дуновение. Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребёнком, когда он начинает лепетать, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить, потому что они представляют собой изначальное целое и кажется странным, что вещи могут называться иначе и желание может выразить себя посредством других фонем. Язык живёт нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями, язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык преформирует нашу психику, ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до артикуляции, до мыслеизъявления и рефлексии. Язык – это ровесник души. Или, если угодно, – её царственный супруг.

И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель, и на ваших глазах, на глазах испуганной и замороженной души происходит что-то вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Кажется, что немецкий язык наделён качеством агрессии и совращения: мужиковатый Дон-Жуан в окружении славянок, достаточно неотёсанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но тем более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.

Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жёсткости его конструкций, в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике, которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована в его энергоносителях – бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползать по фразе, сцепляться, разъединяться, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заменять целые предложения. Ни в одном известном мне языке нет подобного арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление движения, частиц, как бы оснащающих фразу остриём и язык – крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозно-лаконичным, язык коротких команд и сгустков энергии, машет своими крыльями, ползая по земле; воистину непостижим подвиг германских поэтов, сумевших поднять в воздух эту махину.

Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляет себя в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом, после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении; мужское тяжелодумие языка выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен; это тяжелодумие сказывается и в неколебимой серьёзности его юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык почти не способным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи на немецкий язык напоминает танец легконогой красавицы с неуклюжим полковником, который топчет сапогами и трясёт большой головой, в то время как она порхает вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлинняется на одну пятую, на одну четверть. Мужская дисциплина немецкого языка, столь непохожая на капризно-текучую женственность русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных языковых масс, чтобы ворочать ими и умирять их. И, наконец, мужской дар абстракции, средневековый реализм, вошедший в плоть языка и растворённый в его лимфе, почти безграничная способность к субстантивации всех языковых элементов, всё ещё не законченное, всё ещё продолжающееся сотворение новых и новых

отвлечённых понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, – так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами; нет нужды распространяться о них.

Но до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой язык не залил ваши лёгкие, до тех пор, пока он не посягает на ваш ум, вашу душу, ваш пол, ваши сны, ваши обмолвки, – отношение к нему сохраняет музейную благоговейность: так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным бедствием. Так язык остаётся заповедным, покуда это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере таково ощущение человека, знавшего за свою жизнь считанное число живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране, только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из самолёта, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал – и это было всё равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Как если бы мы очутились в Риме Вергилия! Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана, постыдное имущество беглецов, кругом кучки людей переговаривались, не обращая на нас никакого внимания.

Это была *aurea latinitas*, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имеющее ценности, словно воздух; немецкая речь, которую живая небрежность произношения, беззаботная фонетика, народный акцент делали почти неузнаваемой.

Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого лёгкая речь детства стала языком изгнания. Будем откровенны, это надменный язык; и он не признаёт никаких заслуг. Ветхий старец, учивший меня другой премудрости, – мы сидели в его камерке под самой крышей старого дома на Преображенке, на мне был бархатный берет, опустошённый молью, и учитель говорил, что запрет читать Пятикнижие с непокрытой головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не более тысячи лет, – старик этот рассказывал о неслыханном оскорблении, нанесённом его брату. Тринадцать поколений их рода подарили своему народу тридцать учёных знатоков

Талмуда и священного языка. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно ответил: «Сава (дедушка), ты плохо говоришь на иврите!» Итак, приготовьтесь заранее к унижениям, которым подвергнется в этой стране ваша учёность.

Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция – это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит штрафом за незаконный проезд, зовёт к телефону, талдычит в светящемся экране, языка, который высовывает язык и смеётся над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину, показать, что это – он, всё тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой; языка, который зовёт к себе, в неверные объятья, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция, плавание в океане, всё дальше от берега, так что мало помалу покрываешься серебристой чешуёй, с залитыми водой лёгкими, с незаметно выросшими жабрами; эмиграция, превращение в земноводное, которое в состоянии ещё двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду...

Любимый ученик

1

В апреле на лесных дорогах в Южном Тироле лежит снег. Машина едет, описывая длинные дуги, и чем круче вверх ползёт дорога, тем выше отвалы снега вдоль обочин. На площадке в стороне от шоссе стоит каменный крестьянский дом, должно быть, воздвигнутый ещё при императрице Марии Терезии. Вылезаем. Над нашими головами, над лесом, висится и сверкает горный кряж. Такой ландшафт наводит на опасные мысли. Но, может быть, они-то и приближают нас к истине.

Сегодня Gründonnerstag, «зелёный четверг» – четвёртый день немецкой страстной недели, и разговор заходит о происшествии, случившемся в Палестине двадцать веков назад. В четверг 6 апреля 30 года, по еврейскому календарю тринадцатого авива, или нисана, Иисус из Назарета готовится с учениками справить Песах, праздник в память выхода иудеев из Египта под предводительством Моисея. Для гостей приготовлена комната в богатом доме в Иерусалиме. Почему в богатом? Представление об основателе христианства как об отверженном бродяге ошибочно: Иисус происходил из знатного рода, был потомком царя Давида, получил основательное образование; став главой новой религиозной школы, пользовался покровительством влиятельных лиц и дам из высшего круга, многие из них были его тайными или явными сторонниками. Владелец дома счёл для себя честью оказать гостеприимство маленькой бродячей общине учеников во главе с учителем, и ритуальная трапеза в отведённой для этой цели просторной горнице должна была совершиться в неукоснительном соответствии с религиозным и бытовым этикетом.

Сколько человек было на Тайной Вечере? Считается, что у Христа было двенадцать учеников, священное число, равное числу колен Израиля. С другой стороны, ни одно из четырёх канонических евангелий не утверждает, что число учеников было постоянным; кроме поименованных в третьей главе Марка, были и другие, например, Никодим, о котором сообщает Иоанн, или Иосиф Аримафейский, упоминаемый всеми евангелистами; а Лука говорит

даже о семидесяти учениках. В рассказе о Тайной Вечере авторы синоптических евангелий употребляют выражение «Иисус и двенадцать», но не исключено, что в это количество входил и хозяин дома, и, возможно, кое-кто из его родственников. Евангелист Иоанн вообще не называет числа.

Зато он вводит фигуру, о которой другие не упоминают: особо предпочтённый, любимый ученик, лежащий на груди у Христа. Сцена как бы погружена в полумрак; мы не различаем присутствующих, за исключением трёх лиц: это учитель, возлюбленный ученик – принято считать, что это был Иоанн, хотя в тексте нет на этот счёт никаких указаний, – и, наконец, Иуда, которого рабби изобличает как предателя.

Мы сидим за самоваром возле кафельной печи в старом крестьянском доме в тирольских Доломитах, где проводит большую часть года протестанский теолог из Бремена пастор Вильгельм Шмидт. Рядом с гостиной помещается рабочая комната, похожая на *Studierzimmer* доктора Фауста, которому Гёте поручает труд Лютера – перевод Нового Завета на немецкий язык; на пюпитре лежит огромная древняя Библия.

Верно ли, спрашивает хозяин, что «любимый ученик» есть именно Иоанн? Евангелие – не только сообщение о том, что произошло, благая весть, или, переводя буквально с греческого, «хорошая новость», – но и художественное произведение. Воздействие, которое производит на слушателя или читателя сцена предсмертной трапезы Иисуса и учеников, основано на традиционном приёме античной драматургии – конфликте двух протагонистов; остальные присутствующие играют роль хора. Третий персонаж здесь был бы излишним.

Попробуем представить себе, как реально выглядел пасхальный ужин. На память приходят известные полотна, фреска Леонардо в трапезной *Santa Maria delle grazie*. Но сотрапезники не сидели, а возлежали вокруг стола. Об этом не забывают упомянуть и евангелисты, например, у Матфея говорится: «Он возлёг с двенадцатью учениками» (26: 20). Для лежания за пиршественным столом употреблялся триклиний, нечто вроде тройной кушетки с тремя подушками; левой рукой опирались на подушку, правой брали со стола пищу и кубки. Чтобы не мешать друг другу, все три ложа, составляющие триклиний, ставились углом к столу, так что голова второго гостя оказывалась на уровне груди первого, а голова третьего – напротив груди второго. Стол был квадратным. Теперь мы можем с большой долей вероятности сказать, сколько

человек было за столом: двенадцать – по одному триклинию с каждой стороны. Иисус и хозяин дома - в их числе.

Далее произошло следующее: разломив хлеб и наполнив ритуальную чашу горьким напитком, учитель сказал, что за столом находится «сын погибели» – предатель. Праздничные застолья были, как уже сказано, строго регламентированы; участники располагались вокруг стола в определённом порядке. На почётном месте возлежал главный гость, слева от него – второй по рангу и так далее. Первое место за столом хозяин отвёл для рабби. Следующим, «у груди Иисуса», как сказано в Четвёртом евангелии, – то есть на уровне его груди, – находился «один из учеников Его, которого любил Иисус» (Ин. 13: 23). Место, следующее после любимого ученика, хозяин, возможно, оставил для себя. Но кто же был этот любимец?

«...Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искароту» (Ин.13: 25-26).

Особо приближенным учеником мог быть только тот, кому давались наиболее ответственные поручения – к примеру, хранение кассы и заведывание бюджетом странствующей общины; он был старшим после учителя, почему и удостоился второго по рангу места за столом. Имя его, сказал Шмидт, нам известно. Человек этот был Иуда, лежавший у груди учителя и донёсший на своего учителя: Иуда родом из селения Кириаф-Йарим.

2

Поговорим о предмете, который всем нам знаком, слишком хорошо знаком. Поговорим о предательстве.

Тема доноса, история тайного предательства введена в сюжет о казни Христа, составляет его необходимую часть, и евангелие клеймит предательство как самый страшный грех. Доносчик не в силах снести его тяжесть и, замученный необъяснимой тоской, убивает сам себя.

Мы, однако, выросли в обществе, где предатель был такой же будничной фигурой, как парикмахер или почтальон. Где доноительство было частью повседневной жизни, где не существовало ни одного рабочего коллектива, ни одной социальной ячейки, ни одного дружеского кружка, в котором рано или

поздно не появился бы стукач. Предательство встречало нас на пороге сознательной жизни, измена сидела с нами за одним столом, смотрела нам в глаза и клялась в дружбе, и вела с нами доверительные беседы, и не оставляла нас даже по ту сторону жизни – в тюрьме и лагере. Предательство стало своего рода сублимацией страха, но было бы неправдой сказать, что страх оставался его единственным стимулом, ибо оно было и спортом, и профессией, и способом зарабатывать на жизнь, и жизненным призванием. Короче говоря, мы жили в стране доносчиков.

Люди, побывавшие в заключении, убеждались в том, что не было ни одного дела, за которым не стоял бы доноситель, более или менее засекреченный, более или менее очевидный, и сидя в переполненных камерах, в битком набитых столыпинских вагонах, на пересылках и карантинных лагпунктах, куда шли и шли этапы, текли и текли всё новые партии осуждённых, спрашивали себя: сколько же стукачей в этом государстве?

Они спрашивали себя, сколько «оперативных уполномоченных» трудилось в этом обществе, – ведь не существовало ни одной государственной организации и ни одного учреждения, где в комнате за двойной дверью без вывески, в тишине и тайне, не сидел бы этот уполномоченный, насаждавший предательство.

Если бы (как в бывшей ГДР) растворились железные ворота и открылись архивы, – если бы стали известны не только «следственные», но и «оперативные» дела, – обнаружилась бы картина тотального пропитывания общества и народа особого рода фиксирующей жидкостью, и тогда бы мы поняли, почему преступление Искарота перестало считаться здесь чем-то выходящим из ряда вон. Это было общество, отравленное дыханием лагерей и загнивающего Органами, чьи возможности и прерогативы никому не были в точности известны и оттого казались безграничными.

Мне возразят, что всё это - вчерашний день, который никого больше не интересует; я отвечу, что мы все наследники этого общества и что нельзя говорить о демократии там, где существует тайная политическая полиция, а она всё ещё существует. Мне скажут, что я демонизирую деятельность тайной полиции, которая в конце концов представляет собой всего лишь канцелярию. Но не нужно быть фантазёром, чтобы понять, что повсеместное присутствие органов безопасности было не чем иным, как повсеместным присутствием

доносчиков. Мне скажут, что «органы» в этой стране бессмертны, подобно органам размножения, продуцирующим зародышевую плазму, - и я ничего не смогу на это ответить. Если время от времени настигает неотвязная мысль, что эта страна в каком-то общем смысле безнадежна, то отчасти потому, что органы бессмертны.

В одном романе Набокова тюремщик вальсирует с арестантом. Могущество органов состояло в том, что они всегда или почти всегда могли рассчитывать на готовность сотрудничать. Это было общество, сформированное тайной полицией, и общество, питавшее тайную полицию. Паразитический организм, проникший во все системы социального организма, сросся с ним настолько, что государство было не в состоянии функционировать без него, и в этом заключалось оправдание непрекращающихся криков о бдительности. Скульптору Мухиной следовало бы изобразить в качестве аллегорий, олицетворяющих государство, не рабочего с молотом и колхозницу с серпом, а оперативного уполномоченного и сексота с их инструментами – мечом и пером.

Масштабы деятельности восточногерманской Staatssicherheit, в чьи картотеки было занесено практически всё взрослое население ГДР, дают представление о старшем брате, как открытка с репродукцией классического полотна позволяет судить об оригинале. Если бы открылись архивы и были обнародованы списки осведомителей, мы ужаснулись бы не только их количеству, мы увидели бы там имена многих небезызвестных людей. Возмездие? Но трудно представить себе, как можно было бы его осуществить. В обществе, где порядочность была исключением, а подлость – нормой поведения, правосудие, даже если бы оно ограничилось чисто моральными санкциями, столкнулось бы с безвыходной и безнадежной ситуацией.

В двадцатые годы был в ходу медико-социологический термин *syphilisation de la société*. То было время широкого распространения сифилитической инфекции в странах Европы. Под «сифилизацией общества» подразумевалась мера заражённости населения. Специалисты знают, что сифилис – хроническое многолетнее заболевание, проявления которого

весьма различны. Существуют открытые, манифестные формы с признаками активного недуга; существуют формы, когда болезнь протекает скрыто и лишь время от времени даёт знать о себе; наконец, встречаются пациенты, которые выглядят совершенно здоровыми людьми. Лишь положительная реакция Вассермана (интенсивность которой обычно обозначается числом крестиков) сигнализирует о некогда имевшем место заражении, о том, что возбудитель всё ещё прячется в организме.

Среди нас были люди, чья причастность к органам не вызывала сомнений; так сказать, манифестные больные. Были такие, о которых трудно было сказать наверняка – то ли да, то ли нет. И были люди, – сколько их живёт между нами по сей день, – производившие впечатление здоровых. Какой-нибудь жрец науки, популярный режиссёр, увенчанный лаврами живописец или маститый литератор с благородной внешностью, с трубкой в зубах, в бороде патриота, – убеждённый противник коммунизма, критик западной бездуховности, христианин и ратоборец возвращения к корням. Но в крови у него – четыре креста Вассермана.

Я вспоминаю времена нашей юности, послевоенную Москву, филологический факультет университета. Перед окнами и сейчас стоят запорошённые снегом фигуры Герцена и Огарёва. Московский университет, отчизна духа, усыпальница русской свободы! Чьё сердце не забьётся при одном этом звуке... На этом университете стоит чёрное пятно. Мне вспоминаются мои товарищи, однокашники, с упоением занимавшиеся так называемой общественной работой, члены всевозможных бюро и секретари комитетов; люди, которые впоследствии сделали литературными функционерами, а в те годы бодро шагали вверх по общественно-политической, учёной и должностной лестнице. Редко какая карьера была возможна без специфических услуг, оказанных органам, или хотя бы без согласования с органами, без их молчаливого кивка.

Бывшие студенты помнят покойного Романа Михайловича Самарина, видного специалиста по западноевропейским литературам; молодёжь сбегалась на его лекции. Много позже и, кажется, уже после его смерти стало известно, что он был долголетним платным осведомителем тогдашнего МГБ. Весной 1950 года я встретил в Бутырках другого профессора, историка Древнего Востока. В этот день заключённых из нескольких политических тюрем свозили

для объявления приговора Особого совещания. Выглядело это довольно прозаически, каждого по отдельности вводили в комнату, где сидел человек плюгавого вида в мундире без погон; он протягивал листок с уведомлением о том, что вам впаляли такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего вас вталкивали в общую камеру. Профессор сидел в углу, опустив голову. Я сказал: «Когда-то я сдавал вам экзамен и получил тройку». Он спросил: «А сколько вы получили на этом экзамене?» Не знаю, кто заложил профессора-востоковеда, Самарин или другой коллега, сейчас это уже не имеет значения.

Как давно это было! Нас было четверо, вернее, вначале нас было трое. Мы были компанией из трёх друзей, и когда летом сорок восьмого года один из членов этой компании, начинающий поэт по имени Сёма, исчез, мы остались вдвоём и думали, что и нас вот-вот арестуют. Мы приняли меры: приятель мой, тоже поэт, уничтожил творения своей музыки, впрочем, аполитичной; я помню, как мы ходили вечером по московским переулкам, рвали тетрадки со стихами и бросали в урны. Я утопил в уборной дневник, где говорилось о том, что в нашей стране фашистский режим. Но прошли недели, потом месяцы. О нас как будто забыли. Около этого времени мы познакомились с ещё одним мальчиком, Севой Колесниковым, студентом Военного института иностранных языков. Он знал нашего сгинувшего товарища, был его закадычным другом с детских лет; память о Сёме сблизила нас.

Роман Франца Кафки «Процесс», вероятно, нигде не воспринимался так, как в России, где он кажется вполне реалистическим произведением. Есть что-то очень знакомое в рассказе о том, как некая секретная каецелария затевает дело против человека, которые сперва об этом даже не подозревает. Содержание процесса не оглашается, суть его неизвестна. Да и неважно, в чём его суть, ибо, строго говоря, невиновных нет и на месте подследственного может оказаться любой и каждый. Вопрос лишь в очерёдности: даже такое могущественное учреждение, как разместившийся на чердаке огромного дома тайный суд, не может оформить сразу все дела. Но процесс идёт, бумаги движутся по инстанциям, визируются, подписываются, к ним подшиваются новые; жертва живёт обыкновенной жизнью, а процесс идёт. Ни обвиняемый не видит чиновников, ни они его, для судей он просто папка, которую носят из кабинета в кабинет.. Но сколько бы ни тянулась бумажная

волокита, финал неизбежен. Последняя подпись, печать. Папка захлопывается. И тогда за осуждённым приходят палачи и увозят его из города.

История была до смешного проста: Сева посадил своего друга, теперь он был посажен к нам. Об этом можно было бы догадаться, будь мы немного старше.

4

Сева учился в закрытом учебном заведении, где на занятиях ходили в форме, а в другое время разрешалось носить штатское. Сева всегда являлся в костюме с иголки. Мы же ходили в отрепьях, на занятиях в университете я сидел в отцовской шинели, не решаясь раздеться. Сева был всегда при деньгах и щедро угощал нас. Он был весел, остроумен, неистощим на выдумки. Наша дружба крепла. Единственная странность в его поведении была та, что он никогда не приглашал к себе в гости. Он жил в красивом доме на улице Чехова. Однажды я зашёл за ним. Меня не позвали в комнаты, я стоял в прихожей; это была большая отдельная квартира – по тем временам неслыханная роскошь. Отец Севы был «сотрудником», о чём, разумеется, мы узнали много позже. Просто смешно, как всё было просто.

В ночь, когда я был доставлен в подвалы главного здания на площади Дзержинского, в боксе-отстойнике метра на полтора, уже наголо остриженный под машинку, без пуговиц, без шнурков, без брючного ремня, увидев на протянутой мне квитанции об изъятии личных вещей штамп Внутренней тюрьмы и поняв, наконец, где я нахожусь, я прислушивался к движению в коридоре и вдруг услышал, как вертухай спросил о чём-то вполголоса человека, которого только что привезли; тот ответил: «Да». Я чуть не рассмеялся, узнав голос моего товарища, меня охватила нелепая радость, и, чтобы дать знать о себе, я засвистал мотив дурацкой песни, ходившей у нас: «Или рыбку съесть...»

Итак, задача сводилась к тому, чтобы на последующих допросах не выдать Севу, последнего из нас, кто остался на воле. Но оказалось, что никаких особых стараний к тому, чтобы выгородить Севу и спасти его от ареста, не требуется. Следователь не интересовался Севой. Он даже не вспоминал о нём.

Тогда ещё меня поражало сочетание мрачной торжественности, гробовой тишины и тайны, царившей в этих учреждениях, с тоскливой прозой

бюрократического бумагописания, с согбенной спиной следователя, закутанного в шинель (зимой в кабинете открывалось окно, чтобы подследственный мог основательно промерзнуть), который долгими часами уныло скрипел пером. Между тем канцелярия государственной безопасности не могла быть иной. Было бы неестественно, если бы там трудились люди, способные к разумной, мало-мальски осмысленной деятельности. Допрос начинался на исходе дня, когда эти люди приходили на службу, и мог продолжаться до утра, фактически же занимал считанные минуты; всё остальное время следователь, лейтенант Жулидов, человек хитрый и лживый, но малограмотный, трудился над сочинением протоколов.

Этот лейтенант Жулидов прекрасно знал наш факультет. Он поражал меня (и хвастался этим), называя всех моих знакомых. Но о ближайшем друге, постоянном участнике наших крамольных дискуссий, не обмолвился за всё время следствия ни единым словом.

Это было ошибкой: он выдал Севу. Нужно было быть уже совершенным идиотом, чтобы не догадаться в конце концов, кому был обязан своей осведомлённостью человек в зелёном мундире и золотых погонах, похожих на плавники, вероятно, бывший крестьянский сын, говоривший о себе так: «Мы, разведка».

Существует (или существовала) 206 статья уголовно-процессуального кодекса, по которой арестованный, после того как закончится следствие, должен быть ознакомлен с содержанием дела. Органы соблюдали законность – так, как они её понимали. Другими словами, соблюдали законы, которые сами же придумали; закон, как известно, представлял собой в нашей стране систему правил, по которым надлежало творить беззаконие. Собственная полицейская юриспруденция наподобие собственной автономной электростанции. Задаёшь себе вопрос, зачем это им было нужно. Ведь судьба арестованного была решена задолго до ареста, и, принимая во внимание основную задачу – поставку рабочей силы для лагерей, – можно было без ущерба для дела похерить вместе с судом и всю долгую канитель мнимого следствия. Но тогда когорта следователей и этажи начальств остались бы без работы, и вообще это уже другая тема. Короче говоря, один раз в жизни мне довелось подержать в руках – правда, всего лишь на несколько минут – пухлую папку толщиной, если не ошибаюсь, в двести страниц.

Лет десять тому назад, когда либеральная общественность ещё интересовалась этими предметами, а органы пребывали в растерянности, журнал «Огонёк» опубликовал фрагменты следственного дела Исаака Бабея. Самое впечатляющее в этом досье – его рутинность. Тот же стиль, тот же словарь, то же соединение идиотической старательности с оглушительным невежеством, тот же ужасающий русский язык, которым написаны бумаги и в моём деле. И до смешного похожие обвинения. Но есть же разница, скажете вы, между желторотым студентом и знаменитым писателем. В том-то и дело, что никакой разницы не было. И времени для этих тупиц как будто не существовало. Шли годы и десятилетия, контора меняла свои вывески, Ягоду сменил Ежов, Ежова сверг Берия, прогремела война, ушли в забвение фантастические процессы. А равномерно постукивающий, шелестящий трансмиссиями, перемалывающий кости и судьбы механизм так и постукивал; ничего не изменилось, разве только стало яснее, что вместо того, чтобы просто, выстрелом в затылок убивать в подвалах, целесообразней отправлять людей в лагеря, потому что без лагерей и дарового лагерного труда не только не доберёшься до светлых вершин, но и социализма не построишь. Годы шли, а порядок работы оставался прежним, и моё вполне заурядное дело поразительным, неправдоподобным образом напоминало дело Бабея. Кто же стучал на Бабея?

5

Выйдя из-за стола, над которым висел портрет Железного Феликса, следователь пересёк кабинет и положил на крошечный столик в противоположном углу, где полагалось сидеть из соображений безопасности арестанту, папку с делом. Он стоял рядом, поглядывая на часы. Это и называлось - двести шестая статья.

Долго читать не было времени, главное, я должен был расписаться в том, что «с делом ознакомлен», хотя опять же - кому и зачем нужна была эта подпись? Кое-что, впрочем, удалось увидеть.

Дело было оформлено так. После всяких мелких бумажек, постановления об аресте и проч. шли свидетельские показания. Очевидно, что там, где ликвидирован судебная процедура, лишается смысла и понятие свидетельства. Но порядок есть порядок. Под показаниями стояли подписи двух студентов,

учившихся вместе со мной на классическом отделении филологического факультета. Это были одна девушка и один парень, бывший фронтовик. Показания были получены в глубокой тайне за десять дней до ареста. Показания были сравнительно безобидны: например, говорилось, что я клеветал на советские профсоюзы. Кроме того, где-то в середине папки мне попало заявление одной студентки, сообщавшей, что я – еврейский националист. Свидетели были моими друзьями, а студентка, написавшая заявление, – одноклассницей моей сестры. Пожалуй, она была единственной, кто действовал не только из страха, но и по убеждению; она была истой комсомолкой и общественницей. То было время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом, государственный антисемитизм полыхал на страницах газет. Врага следовало обрядить в модную одежду.

Можно предположить, что у обоих свидетелей был биографический изъян, которым воспользовались для угроз: девушка была еврейкой или полуеврейкой и, судя по всему, происходила из неблагополучной семьи; парень носил немецкую фамилию, имел немецкое отчество, хотя говорил, что его отец эстонец. Дальнейшая судьба свидетельницы была горестной, она неудачно вышла замуж, потеряла ребёнка и скончалась психически больной. Бывший фронтовик стал заведующим кафедрой латинского языка в медицинском институте.

Могли ли эти свидетели что-нибудь сделать, допустим, предупредить тех, на кого они показывали, что им грозит арест? Но им скорее всего разъяснили, что «следствию всё известно» и если они не хотят помочь разоблачению врагов народа, значит, они их пособники. С них взяли подписку о «неразглашении». Свидетелями правил страх. Они могли маскировать его перед самим собой, сказав себе: кто его знает, может, дело куда серьёзнее, чем мы думаем; органам виднее. В конце концов, нет дыма без огня. Они могли сказать себе: что изменится от этих показаний? А если я откажусь, меня арестуют. И что изменится, если я их предупрежу? Предупреждай, не предупреждай, эти двое всё равно пропали.

Нечего и говорить о том, что «свидетельские показания» в этих делах – не более чем декорация. Истинным сырьём для этой промышленности служит то, что ещё в прошлом веке (не будем забывать о том, что наше отечество – страна со старыми и прочными традициями политического сыска) получило

название агентурных сведений. Эти сведения, собственно, и предопределяют всё дальнейшее. Краеугольный камень дознания – донос. Но имена провокаторов не подлежат оглашению даже в таком сугубо секретном документе, как следственное дело. Доносы в дело не подшиваются. Они – принадлежность другого досье, так называемого оперативного дела, 206-я статья на него не распространяется. Не может быть и намёка на существование оперативных дел. О них ничего не говорилось даже в самых смелых публикациях начала 90-х годов. То, что удалось частично разоблачить, что показывали журналистам и родственникам погибших, – были только следственные дела. Вот почему никто так и не узнал, кто погубил Бабея.

Словом, имя Всеволода Колесникова в моём деле отсутствовало. Севы как бы вовсе не существовало, и предполагалось, что я вёл антисоветские разговоры и клеветал на «одного из руководителей Советского государства» не с Севой и не в его присутствии, а с кем-то другим или с самим собою. «Следствию стало известно, что...». Предполагалось, что, изобличённый, я в своих преступлениях сознался сам.

Дела давно минувших дней. Что стало с Колесниковым? Окончив институт, он был направлен для важной секретной работы за границу. Должно быть, теперь он уже генерал. Вероятно, на почётной пенсии. Может быть, тоже проводит каникулы в Южном Тироле. Прочтёт ли он когда-нибудь эту статью? Едва ли.

Тютчев в Мюнхене

1

Гейне, проживший вторую половину жизни в изгнании, жаловался, что, произносимое по-французски, его имя – *Henri Heine* – превращается в ничто: *Un rien*.

Может быть, относительно небольшая известность Фёдора Ивановича Тютчева в Германии объясняется фатальной непроизносимостью его имени для немецких уст. О том, что Тютчев был полуэмигрантом и что его творчество невозможно интерпретировать вне связи с немецкой поэзией и философией, в бывшем Советском Союзе предпочитали помалкивать, но и в Мюнхене до сих пор мало кто знает о русском поэте, который прожил здесь, по его словам, «тысячу лет».

Весной 1828 года Гейне в письме из Мюнхена в Берлин спрашивал Фарнхагена фон Энзе, дипломата и писателя, в наше время более известного тем, что он был мужем хозяйки знаменитого берлинского литературного салона Рахели Фарнхаген, знаком ли он с дочерьми графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости, но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом, молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько обедаем вместе».

Через много лет, уже покинув Германию (где на самом деле он провёл без малого 15 лет), Тютчев рассказывал: «Судьбе было угодно вооружиться последней рукой Толстого, чтобы переселить меня в чужие края». Имелся в виду троюродный дядя, герой войны с Наполеоном, потерявший руку под Кульмом, граф Остерман-Толстой, который выхлопотал для племянника место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе. Отъезд состоялся 11 июня 1822 г.: из Петербурга через Лифляндию в Берлин и далее на юго-запад. В карете, лицом к дяде, спиной к отечеству, сидел 18-летний кандидат Московского университета по разряду словесных наук. На козлах подле кучера клевал носом старый дядька Тютчева Николай Хлопов. Недели через две добрались до Мюнхена.

На Оттоштрассе, дом № 248 (которого давно нет в помине, да и нынешняя улица Отто находится в другом месте), была снята просторная и

дороговатая для юного чиновника 14 класса квартира, которую старый слуга, опекавший «дитё», обставил на старинный российский лад. В гостиной, в красном углу высели в несколько рядов иконы и лампы. Хлопов вёл хозяйство, сам готовил для барчука, встречал и угощал его немецких гостей. Вечерами в своей каморке он сочинял обстоятельные отчёты для родителей Фёдора Ивановича, владельцев родового имения в селе Овстуг Орловской губернии.

2

Русский дом, запах просвир и лампадного масла – и католическая Бавария, королевский двор и местный бомонд. В политических одах и статьях Тютчева, не лучшем из того, что он создал, он заявляет себя патриотом и славянофилом; в революционном 1848 году – свержение Луи-Филиппа в Париже, год мартовские события в германских землях – он пишет о «святом ковчеге», который всплывает над великим потопом, поглотившим Европу. «Запад исчезает, всё гибнет...». Спасительный ковчег – Российская империя. В изумительном стихотворении «Эти бедные селенья...» (1855) говорится о Христе, благословляющем русскую землю. А в жизни Тютчев – западник, «у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам», – пишет Иван Киреевский, который тоже обитал в Мюнхене на рубеже 20–30-х годов. Время от времени Тютчев наезжает в Россию, и выясняется, что он не в состоянии прожить двух недель в русской деревне. Это патриотизм *à distance*, любовь, которая требует расстояния. И ещё долгие годы спустя, вспоминая Баварию, он будет испытывать «*nostalgie, seulement en sens contraire*», ностальгию наоборот. Вон из возлюбленного отечества... Для этой странной антиностальгии у него находится и немецкое словечко – *Herausweh*.

Его стихи о природе – «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...»), «Весенние воды» («Ещё в полях белеет снег...», «Зима недаром злится...», «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть...»), признанные шедевры русской пейзажной лирики, – на самом деле навеяны верхнебаварскими ландшафтами, написаны после поездок на озеро Тегернзее. Свиданием с мюнхенской красавицей, баронессой Амалией Крюденер, урождённой Лерхенфельд, вдохновлено стихотворение «Я встретил вас – и всё былое...», которое создано за два года до смерти. Положенное на

музыку в конце позапрошлого века одним забытым ныне композитором, оно стало популярнейшим русским романсом.

В Мюнхене юный россиянин, забросив служебные обязанности, и без того не слишком обременительные, быстро обзаводится друзьями. Гейне надеется с его помощью, через знакомства, приобретённые в доме Тютчева, получить профессию в мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана. Барон Карл фон Пфедфель, камергер баварского двора, утверждал, что «за вычетом Шеллинга и старого графа де Монжелá Тютчев не находил собеседников, равных себе, хотя едва вышел из юношеского возраста». Огромный седовласый Шеллинг старше Тютчева почти на тридцать лет, это не мешает ему увлечённо спорить с бывшим московским студентом, который доказывает автору «Системы трансцендентального идеализма» несостоятельность его истолкования догматов христианской веры. Киреевский приводит слова Шеллинга: «Очень замечательный человек, очень осведомлённый человек, с ним всегда интересно поговорить».

Тютчев, на которого Гейне (по мнению Юрия Тынянова) ссылается, не называя его по имени, в одной из своих статей, первым начал переводить стихи Гейне на русский язык; с этих переводов пошла необыкновенная, верная и трогательная любовь русских читателей к Генриху Гейне. Среди многочисленных тютчевских переложений с немецкого есть даже одно стихотворение короля Людвиг I. Но о том, что Тютчев – поэт, который не уступит самому Гейне, не говоря уже о его величестве, никто или почти никто в Мюнхене не подозревает; известность Тютчева – другого рода.

3

У Тютчева двойная репутация: блестящего собеседника и любимца женщин. Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) – листок из альбома одной московской приятельницы с начертанными рукой 30-летнего поэта именами тридцати четырёх дам разного возраста и состояния, одаривших его своей благосклонностью. Кое-что сближает Тютчева с Пушкиным: влюбчивость, способность воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, – как и малоподходящая для покорителя сердец внешность.

Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами. Этот человек не отличался ни честолюбием,

ни сильной волей, скорее его можно было назвать бесхарактерным. Карьера его не интересовала. О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду: он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его *mots*, расходились по салонам, но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. Если бы ему сказали, какое место он займёт на русском Олимпе, он был бы удивлён.

Меньше всего он напоминал Дон-Жуана. И всё же это был тот случай, когда мужчины пожимают плечами, недоумевая, что может привлечь в таком слабаке женщин, зато женщины оказываются под порабащающим гипнозом необъяснимых чар – блистательного ума.

При всём том Тютчев – отнюдь не певец счастливой, самоупоённой любви:

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

Таков эпилог любви: груда золы. Любовь – это тёмный пожар, жестокая, неодолимая страсть, обнажающая ночную жизнь души. Немецкому и русскому читателю она напомнит «влажного бога крови» с его трезубцем из Третьей дуинской элегии Рильке. Такая любовь есть не что иное, как вторжение в нашу дневную жизнь шевелящегося под ней, словно магма под земной корой, «родимого хаоса»; и её жертвой всегда оказывается женщина.

Поразительное стихотворение, написанное в Мюнхене не позднее начала 1830 года (Тютчеву около 26 лет) и напечатанное в пушкинском «Совре-

меннике» в 1836 г., принадлежит времени, когда, кажется, ничего подобного в нашем отечестве не появлялось.

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.

То глас её: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив расёт и быстро нас носит
В неизмеримость тёмных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, –
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Как океан объемлет шар земной... Есть мир дня и мир ночи. При взгляде отсюда, из дневного и умопостигаемого мира, сон представляется мнимостью, – но лишь при взгляде отсюда. Можно взглянуть на действительность из сна, и тогда окажется, что именно он реален. Маленький островок суши – вот что такое действительность; вокруг – бездонный и безбрежный океан.

Можно показать с помощью объективных исследований, что сновидение, каким бы долгим и запутанным оно ни казалось, длится считанные секунды. Но время опять-таки существует только в дневном мире, где мы регистрируем электрофизиологическую активность клеток мозга; там, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере имеет какую-то совсем иную природу.

Здесь нет необходимости рассматривать возможные философские и литературные источники поэтической онтологии сна у Тютчева, ссылаться на немецких романтиков или Шопенгауэра («Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон...»), которого Тютчев, впрочем, в это время ещё не читал. Достаточно будет напомнить, что искусство даёт возможность соединить оба мира. Литература есть способ непосредственно показать, что сон и явь – это две по меньшей мере равноценные стороны нашего существа; литература может и должна ценить в снах то единственное состояние, когда мы способны взглянуть на наше существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной в сравнении с нашим разумом, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. Ибо если мы

созерцаем сны о жизни, то сон в свою очередь созерцает нас. «Что за таинственная вещь сон, – писал Тютчев дочери спустя сорок лет после того, как было создано стихотворение «Как океан объемлет шар земной...», – в сравнении с неизбежной пошлостью действительности, какова бы она ни была!.. Мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей жизнью, как во сне».

Тютчев-поэт написал немного; за редкими исключениями (Толстой, Тургенев, Фет), современники считали его в лучшем случае талантливым дилетантом. В лучших своих творениях он принадлежал другому времени; державинская выпренность, классицизм восемнадцатого века соединяется в нём с прорывами в космическое сознание, которые сделали его поэзию внятной лишь много десятилетий спустя.

5

«Тайный брак», о котором упомянул Гейне, не был светской сплетней, но и не вполне отвечал действительности. Стихи Гейне из сборника «*Neuer Frühling*» («Новая весна») по крайней мере отчасти навеяны встречами в доме Тютчева; здесь в ранние весенние месяцы 1828 г. развивался роман с юной графиней Ботмер; что же касается её старшей сестры, эксцентрической красавицы Элеонорры, в домашнем обиходе Нелли, то ещё в начале 1826 года она обвенчалась с двадцатитрёхлетним Тютчевым.

Ей было 27. Причудливая причёска, овальное детское личико и пышные плечи на единственном портрете кисти неизвестного художника. Хотя первый муж Элеоноры, покойный Александер Петерсон, оставивший ей трёх сыновей (младшему не было и года), был дипломатом на царской службе, она не знала ни слова по-русски. Через жену Тютчев породнился с баварской знатью. Дом Тютчевых превращается в светский салон; старик Хлопов получает отставку и отбывает к родителям Фёдора Ивановича. Одна за другой, в дополнение к трём пасынкам, у Тютчева рождаются три дочери. Семья и рассеянная жизнь требуют средств, жалованье младшего секретаря посольства невелико, родители присылают немного, и начальство в лице русского посланника в Мюнхене ходатайствует в 1832 г. перед министром иностранных дел о субсидии Тютчеву «для уплаты долгов и дабы держаться на высоте того общественного уровня, к

коему он призван столько же своим служебным положением, сколько личными качествами».

Супружество можно называть счастливым. Тютчев сообщает друзьям, что жена любит его, «как ни один человек не был любим другим». Элеонора Фёдоровна полна забот о муже; оказывается, он подвержен приступам меланхолии, «занят своим ничегонеделанием»; она называет его «дитятя». Любит ли он её так же, как любим ею? Город потрясён ужасным известием. Узнав о новом увлечении мужа, Нелли пытается заколоться на улице кинжалом.

Всё обошлось, но в феврале 1837 года Элеонора Фёдоровна пишет свекрови в Россию: «Если бы Вы могли его видеть таким, каким он уже год, удручённым, безнадёжным, больным, затруднённым тысячью тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью..., Вы убедились бы так же, как и я, что вывезти его отсюда волею или неволею – это спасти его жизнь».

В мае (через три с небольшим месяца после гибели Пушкина) Тютчев с семейством приезжает в отпуск в Петербург. Здесь он получает другое назначение – в Турин, к сардинскому двору; оставив на время жену и детей, отбывает на новое место. В Турине невыносимо скучно. Внезапно приходит известие о том, что у берегов Северного моря, при подходе к Любеку сгорел русский пассажирский пароход «Император Николай Первый». Пожар (впоследствии описанный находившимся на борту Тургеневым) вспыхнул ночью; когда разбуженные люди выбежали на палубу, столбы огня и дыма поднимались по обеим сторонам трубы, пламя охватило мачты. Среди пассажиров находилась семья Тютчева.

Смерть Элеоноры в августе 1838 г. была, как считается, поздним следствием катастрофы. По семейному преданию, Тютчев вышел после ночи, проведённой у гроба Нелли, седым. Но через несколько недель, как мы узнаём из дневника Василия Жуковского, он снова влюблен – и где же? Разумеется, в Мюнхене.

Эрнестина Дёрнберг приходилась внучатой племянницей некогда знаменитому баснописцу Готлибу-Конраду Пфеффелю; другой Пфеффель,

камергер, о котором упоминалось, был её братом. С портрета тридцатых годов, сильно стилизованного, на потомков с едва уловимой иронией взирает спокойная ясноглазая женщина в венце тёмных волос. Несси 29 лет (Тютчеву 36), несколько лет тому назад она овдовела.

Роман затеялся ещё при жизни Элеоноры. В конце 1837 года любовники встречались в Генуе. Об этом есть два стихотворения: «Так здесь-то суждено нам было...» («1-ое Декабря 1837») и «Итальянская villa». По-видимому, сразу после смерти жены встал вопрос о новом браке. Между тем Эрнестина в Баварии, он в Турине, где вдобавок приходится исполнять обязанности посланника, отозванного в Петербург. Причина отставки посланника – обострение отношений России с Сардинским королевством, вызванное весьма серьёзными обстоятельствами: супруга посланника имела неосторожность появиться при дворе в белой вуали, которую подобает носить лишь королеве и принцессам.

Ещё не истёк срок траура. Несси беременна. Решено венчаться за границей. Тютчев бросает дела, запирает посольство и тайком уезжает в Швейцарию. Результат этой самовольной отлучки (вдобавок поэт умудрился по дороге потерять дипломатические шифры) плачевен: конец служебной карьеры, и без того не блестящей. Он принужден подать в отставку и возвращается в Мюнхен.

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови –
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под лёгкой девственной фатой.

Поэт всеилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжёт своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиёю сердце жалит,
Он, как пчела, его сосёт.

Твоей святыни не нарушит
Позта чистая рука,

Но ненароком жизнь задушит
Иль унесёт за облака.

В Петербурге, куда Тютчев переехал с семьёй, окончательно покинув Германию в середине сороковых годов, его ждала последняя любовь к Леле, 24-летней воспитаннице Смольного института благородных девиц Елене Александровне Денисьевой, от которой было у него двое детей и которую он похоронил. Эрнестина Тютчева надолго пережила их обоих.; она покойся в Новодевичьем монастыре в Петербурге рядом с мужем. Но это уже другая эпоха, другая история.

Возвращение Агасфера

Из «Писем из Старого Света»

Не знаю, как вы отнесётесь к этому посланию, моя дорогая. Я хочу говорить о Катастрофе. Невежественные журналисты заменили это слово другим, отвратительно звучащим для русского уха: «холокост». Вычитали его из американских газет, никогда не слыхав об эллинистическом наследии русского языка, о том, что в нашем языке давно существует слово *голокауст*, непосредственно пришедшее к нам из Греции, воспроизводящее античное произношение и античный смысл; ведь буквально оно означает «всесожжение». Я хочу говорить о Голокаусте. И начну с одной довольно странной истории.

История эта случилась давно. Знаменитый философ, астролог и маг Агриппа Неттесгеймский сидел в своём кабинете, когда стукнула дверь и вошёл странник. Хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния. Он рассказал, что с ним произошло. Некогда жил он в Иерусалиме, занимался сапожным ремеслом. Однажды он услышал шум на улице, измождённый человек тащил огромный брус с перекладиной, вокруг и следом шла толпа. Одни смеялись, другие сочувствовали. Человек этот выдавал себя за Мессию. Он объявил себя царём и был приговорён к смерти. Он попросил сапожника помочь ему донести брус до места казни. «Много вас таких, – ответил сапожник, – пошёл вон...» – «Хорошо, Я пойду, – сказал человек с крестом, – но и ты будешь ходить, покуда Я не вернусь». Человек этот был Иисус, а сапожник, по имени Агасфер, прозванный Вечным Жидом, как вышел из своего дома, так с тех пор и бродит, и прошло уже пятнадцать столетий.

«Что тебе надо?» - спросил Агриппа. Старец объяснил, что он много слышал о чудесном искусстве предсказаний, которым владеет Агриппа. «Мало ли что говорят», – заметил учёный. «А это? – возразил Агасфер и ткнул корявым пальцем в угол, где стояло некое сооружение из двух зеркал с подвешенным кристаллом. – Я хочу знать, когда Он вернётся. Когда кончатся мои скитания. Ты один можешь показать мне будущее; умоляю, сделай это!»

Напрасно Агриппа предостерегал гостя против опасного эксперимента: ведь увидеть будущее значит не только перенестись на мгновение в другое

время, но и жить в другом времени; и никто не знает, способен ли человек вынести это. «А чего мне бояться, – возразил Вечный Жид, – мне терять нечего». Чародей уступил его просьбам: усадил гостя между зеркалами, прочёл молитву или заклинание; кристалл ожил, затеплился жёлтым светом, Агасфер увидел своё отражение, бесконечно повторённое в зеркальных далях, за его спиной было прошлое, спереди надвигалось будущее, приближалась желанная смерть. Вернувшись, он не мог понять, сколько времени он находился в другом времени; ибо там время текло иначе. Чародей стоял перед ним, ожидая услышать его рассказ. Но странник не сразу собрался с мыслями.

Он стоял в длинной очереди перед приземистым зданием с кирпичной трубой; из трубы валил чёрный дым. Охранники подгоняли людей – здесь были мужчины, женщины с младенцами на руках, юные девушки, древние старики и согбенные старухи. И вместе с ними, вместе с Агасфером стоял в очереди Тот, кого он когда-то прогнал от своего крыльца.

«Этого не может быть, – вскричал Агриппа, – ты уверен, что это был Он? Он не может умереть!» – «Я тоже думал, что никогда не умру». – «Но Он Сын Божий!» – «Это вы так считаете, – возразил Агасфер. – Он сын нашего народа». – «И стражники не пали перед Ним ниц?» – «С чего бы это. У них другие заботы...» Вечный Жид задумался, теперь он знал, чем всё кончится. Он стал просить хозяина послать его туда снова. Опыт был повторён, но на этот раз Агасфер уже не вернулся: он сгорел в печах вместе со всеми и с Тем, сказавшим: «Будешь скитаться, доколе Я не приду во второй раз».

Вы догадались, что я просто пересказал вам рассказ, придуманный мною когда-то. Правда, Агриппа фон Неттесгейм – лицо историческое, о нём можно прочесть в энциклопедическом словаре. Брюсов сделал его персонажем романа «Огненный ангел». Что же касается легенды о вечном скитальце, то меня поразило одно обстоятельство.

Легенда, известная во множестве вариантов, носит довольно отчётливый антисемитский характер. Некий жестокосердный иудей осужден вечно бродить среди чужих народов, и поделом ему: ведь он отвернулся от Христа на его крестном пути. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осуждён самим Христом. Но, заметьте, – он единственный из живущих на земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нём. Много столетий подряд христианство было непримиримым врагом

еврейства, сеяло недоверие и ненависть к евреям. Все христианские церкви несут свою долю вины за гонения и погромы, за то, что происходило в Средние века и за то, что случилось в нашем веке. И вместе с тем христианство приросло к своему антагонисту, как сук к дереву. Христианство исторически отпочковалось от иудаизма, авторы и персонажи Нового Завета евреи, и народ этот каким-то чудом сохранился, пережил Священную историю и просто историю.

Странник (я возвращаюсь к моему рассказу), явившийся к учёному немцу XVI столетия, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось бродить, представляет собой, так сказать, отрицательный полюс истины. Агриппа христианин, для него смерть Спасителя – абсурд. Агасфер – еврей, бывший житель Иерусалима, на его глазах происходила казнь Христа, Иисус для него только человек, ложный Мессия, каких было немало. По логике этого взгляда, Христос, если бы он явился в эпоху Голокауста, должен был бы разделить судьбу шести миллионов отравленных газом и сожжённых в печах. Христос выполнил своё обещание, он явился во второй раз, и когда же? – когда его соплеменники стоят в очереди перед газовой камерой. Он не может выйти из очереди, это значило бы предать обречённых. А для эсэсовцев он просто жид – как все.

Вместе с евреями погибает и христианство.

Вы скажете: но это твоя фантазия! Верно. И... не совсем фантазия.

Вы скажете – христианство отнюдь не сгнуло. Христианство и сегодня могучая сила в мире. Вдобавок оно «учло свои ошибки». Ватикан в специальном документе официально реабилитировал евреев, больше не надо считать их виновными в том, что Спаситель был предан казни.

Я отвечаю: спасибо. Хотя неясно, реабилитирована ли таким образом и римская церковь.

Но это Ватикан. Зато в книгах, которые выходят сегодня в Москве с благословения патриарха, в учебных пособиях по Священной истории вы по-прежнему можете прочесть, что толпа, собравшаяся перед дворцом наместника, кричала: «Распи Его!» – так повествует Евангелие – и что «кровь Его на нас и детях наших», и так далее, и что, дескать, вся дальнейшая история еврейства, его горестная судьба была следствием того, что этот народ запятнал себя убийством Христа. Сами виноваты! О том, что евангельский рассказ исторически неправдоподобен, что невозможно представить себе, чтобы

римский наместник советовался с толпой, как ему поступить, наконец, о сомнительности самой этой фразы насчёт «нас» и наших детей – ни слова.

А главное, ни тени сознания того, что вся эта контроверза – распяли, не распяли – после Освенцима должна быть закрыта, вся эта «тематика» должна быть выкинута на свалку.

При исследовании останков последнего русского императора и его семьи церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, не пришлось в голову, что сам вопрос постыден.

Если *такое* христианство забыло о том, что произошло в нашем веке и на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать об печах Освенцима, если оно думает, что может остаться прежним христианством, – как будто в мире ничего не произошло, – значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых печах.

Дорогая. Я чувствую, что вы готовы прервать меня. Освенцим, Голокауст... Но ведь это же было *там*, это были немцы, нацисты, пусть их дети и внуки сводят счёты с прошлым; а у нас тут достаточно своих проблем. И в конце концов, почему мы обязаны вечно заниматься евреями.

Возможно, вы нашли бы другие выражения, но ведь именно так вы подумали, не правда ли.

Я не знаю, что вам ответить, такая аргументация ставит меня в тупик.

Видите ли, мне всё кажется, что тот, кто думает: не наше дело и не наша забота, – попросту не хочет понять, о чём идёт речь. К несчастью, именно так обстоит дело в России. Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в Советский Союз, слишком скудно освещались в стране, где государственная цензура и народное предубеждение систематически отсекали всё, что касалось евреев; самое слово «еврей», как вы помните, было почти нецензурным. В результате (но не только поэтому) Освенцим отсутствует в сознании интеллигенции, не говоря уже о простом народе. Освенцим отсутствует в сознании церкви, притязающей на роль духовного наставника общества, но никогда не протестовавшей против эксцессов юдофобства. Освенцим отсутствует в сознании наших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого и заслуженного, – если бы это было не так, он не решился бы петь хвалы национализму и национальным добродетелям, не осмелился бы взять

под защиту непристойные высказывания писателей-деревенщиков и т.п., не был бы настолько наивен, чтобы уверять себя и других, что декларации «национального самосознания», каким оно выглядит в действительности, а не в розовых романтических мечтах, не имеют никакого отношения к антисемитизму. Он был бы по крайней мере трезвей и осторожней, если бы помнил о том, что мы живём после Освенцима.

Да, мы живём после Освенцима, и дым печей спустя полвека вызывает у нас приступы удушья. Мы – астматики Освенцима. Мы его вольноотпущенники, нам удалось ускользнуть от газовых камер, мы остались в живых. Но мы не освободились от Освенцима, и с этим ничего невозможно поделать, разве только помнить о том, что многое, очень многое должно быть по меньшей мере пересмотрено, продумано заново и что эта работа у нас на родине даже ещё и не началась. Нельзя, непозволительно после Освенцима вести благодушные разговоры о том, что, конечно, расизм вещь нехорошая, но ведь и Достоевский, и Розанов были не совсем неправы; нельзя больше вести разговоры о Боге и о евреях, о России и о православии так, как они велись сто лет назад. Нельзя думать, что Освенцим – это проблема евреев, или проблема немцев, или ещё чья-нибудь, только не наша. Нельзя забывать, что антисемитизм – это всечеловеческая школа зла, и не зря многовековое обучение в этой школе завершилось газовыми камерами и печами. Дорогая, не сердитесь на меня, и – всего вам доброго.

Штирлиц, или красота фашизма

Смерть Дриё. Хозяйка квартиры на улице Св. Фердинанда нашла записку, оставленную жильцом: «Габриэль, на сей раз меня не будите». Сам жилец сидел на кухне перед умывальником, положив локти на край умывальника, голову на руки, лицом вниз; разбудить его уже никто не мог. Газовый шланг был вырван из гнезда. Вдобавок самоубийца принял смертельную дозу люминала. Дело происходило 15 марта 1945 года, Париж полгода находился в руках союзников, де Голль возглавил новое французское правительство. Дриё должен был на другой день предстать перед судом.

Кто он такой. В конце тридцатых годов Пьер Дриё Ла Рошель выпустил роман «Жилль». Едва успев окончить школу, Жилль Гамбье попадает на фронт, оттуда в госпиталь. Война заканчивается. Бесконечные любовные приключения, брак с состоятельной дамой из еврейской семьи. Пожив некоторое время за её счёт, Жилль бросает жену, то же происходит со вторым браком. Жилль сближается с группой литераторов-бунтарей, замысливших убить президента республики; издаёт журнал, в котором проповедует национальную революцию и великую народную общность, но не может вырваться из своего одиночества. Он уезжает в Испанию. Финал напоминает последние страницы романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», но с противоположным политическим знаком: Жилль Гамбье воюет на стороне франкистов. Укрывшись в развалинах, он стреляет по приближающимся республиканцам; через минуту он будет убит.

Дебют. Книга отчасти воспроизводит жизнь автора. Дриё был ранен под Верденом. После войны прожигал жизнь в Париже. Дважды был женат на богатых женщинах, обеих оставил. Рано добился литературного успеха (романы «Мечтательная буржуазия» и «Мужчина, увешанный женщинами»), был ослепительно красив, всегда одет с иголочки, всегда при деньгах, в отличие от своего закадычного друга Луи Арагона. Оба приятеля – усердные посетители фешенебельных публичных домов.

Тайный отчёт. Так называются предсмертные записки Дриё Ла Рошеля, опубликованные сравнительно недавно. Дриё рассказывает о том, как с отроческих лет он боролся с демоном: всю жизнь он бежал от самого себя или – что в данном случае одно и то же – от соблазна покончить с собой. Было несколько неудачных попыток. Биография (или «патография») Дриё – в некотором роде образцовый случай, ибо здесь нас интересует не столько социальный или политический генезис фашизма, сколько его психологический резон и эстетический искуc. Чтобы сделаться идеологом «движения», надо быть психопатом. Чтобы стать его трубадуром, надо быть эстетом.

Съезд победителей. «То, что я увидел, превосходит всё, что я ожидал: опьяняет и повергает в трепет... Марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, – нечто роскошное и надменное. Со времени русских балетов я не испытывал подобного художественного потрясения. Вся эта нация погружена в стихию музыки и танца». Так он пишет к одной из подруг под свежим впечатлением от паломничества в Германию в сентябре 1935 года. Дриё, один из самых блестящих публицистов французского праворадикального лагеря, предстал перед бонзами нового режима. Ему устроили экскурсию в основанный два года тому назад концентрационный лагерь в Дахау. Закоренелый индивидуалист жаждет приобщиться к великому делу: таким причастием – высшим переживанием – оказался имперский съезд партии в Нюрнберге. Оттуда Дриё едет в Берлин, а далее в Москву, – почему бы и нет?

Нечто роскошное и надменное. Удивительная история. Тот, кто видел фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», знает, как выглядел этот триумф. На этот шедевр кинематографии, посвящённый нюрнбергскому съезду, невозможно смотреть без смеха. Невозможно не расхохотаться, глядя на кадры хроники, запечатлевшей вождя, его соратников и публику, совершенно так же, как нельзя не удержаться от смеха при взгляде на бесчисленные фотографии Гитлера, выполненные лейб-портретистом Гофманом, на ужимки и выпученные глаза итальянского дуче, на жирного карлика в эполетах – испанского каудильо Франсиско Франко де Баамонде, выпагивающего рядом с Адольфом во время торжественной встречи на перроне берлинского вокзала.

Кого мог привести в восторг этот балаган? Между тем ни презрительный красавец Дриё Ла Рошель, ни рыцарственный граф Анри де Монтерлан, ни полубезумный Эзра Паунд, ни пророк «Третьего Завета» Мережковский, ни северный романтик Кнут Гамсун, – если называть только самых известных почитателей фашизма, – не были, кажется, людьми примитивного вкуса.. Каждому был более или менее не чужд особого рода культ красоты, переживание истории как борьбы эстетики с безобразием, – и в этом, может быть, всё дело.

Цвета эпохи. Либеральная демократия девятнадцатого века изжила себя. Демократия выродилась, продана капиталу. Мир погряз в пошлости. Это ощущение заставляет вчерашних фронтовиков Мировой войны, молодых людей «потерянного поколения», искать истину на политических полюсах. Всё что угодно – только не пресловутая золотая середина, не буржуазное ожирение, не парламентская болтовня, не публичный дом либерализма. Два цвета времени – красный и чёрный: жертвенная кровь и геройская смерть. Цвета пролетарско-коммунистического и пролетарско-фашистского тоталитаризма. Призрак двух революций бродит по Европе. Ровесники Дриё Ла Рошеля видят себя на перепутье: или направо, или налево; и оба пути, как в сказке о богатыре, ведут к гибели. Волшебным блеском загораются слова «народ», «нация», «воин», «рабочий», «вождь», «революция», «кровь», «почва», «величие», «смерть». Скрип ремней и сапог, знамёна, эмблемы. Так они становятся наркоманами радикальной идеи.

Театр смерти. Мёртвые маршируют плечом к плечу с живыми, а живые готовы умереть. Шестьдесят пять лет назад в Мюнхене, «столице движения», при въезде на Королевскую площадь были воздвигнуты два храма с саркофагами павших борцов. Ежегодная церемония начиналась в центре города, где фюрер, в качестве верховного жреца, возлагал гигантский венок к подножью мемориала на площади Одеона – там, где 9 ноября 1923 года полиция разогнала пивной путч. Далее шествие к храмам, чёрные ряды лейбштандартов СС, «последний смотр» с выкрикиванием имён павших, громоподобный отзыв: «Здесь!» и прочее. Грандиозный кич смерти, в сравнении с которым кажутся скромными языческий мавзолей в Москве и

останки, замурованные в кремлёвской стене, мрачный караул перед гробницей с половинкой вечно живого Ленина или даже улыбающийся Мао Цзедун, засоленный целиком.

Великое прощание. Показанная в начале 90-х годов в мюнхенском Музее кино ретроспектива «Кинематограф диктаторов» была составлена из лент, сгруппированных попарно: «Пётр Первый» режиссёра В.Петрова и «Великий король» Файта Гарлана (о Фридрихе II), «Иван Грозный» С.Эйзенштейна и некогда знаменитый итальянский супербоевик 1937 года «Сципион Африканский» с главным героем, похожим на Муссолини. Снятое весной 1939 г. «Пятидесятилетие Адольфа Гитлера» шло в один вечер с «Празднованием семидесятилетия Иосифа Виссарионовича Сталина», на удивление тусклым; между обеими кинолентами – десять лет и война. Изготовленное с великими трудами «Празднование» было показано имениннику, удостоилось похвалы и отправилось в архив: вождь не пожелал, чтобы фильм вышел на экраны. К сожалению, – или к счастью, – отсутствует немецкий эквивалент совместного труда корифеев советского кино Герасимова, Александрова, Чиаурели и Ромма – «Великого прощания», не успевшего выйти в свет из-за падения Берии. Существует, правда, роман, написанный после войны одним австрийским журналистом: Третья империя победила, Европа нацифицирована, приводится многостраничный газетный отчёт о торжественных похоронах престарелого Гитлера.

Вождь и его тень. Парад в честь 50-летия фюрера открывает кавалерия. Впереди скачет одинокий барабанщик с двумя барабанами по обе стороны седла, и то, что он проделывает со своим конём, изумительное искусство, с которым он кружится и размахивает палочками, наводит на мысль, что это выступление есть не что иное как символический эпиграф ко всему происходящему. Прочие номера обширной программы – пехота, танки, проезд Гитлера в открытой машине по проспектам предвоенного Берлина в имперскую канцелярию, встреча с соратниками и восшествие на балкон – не в состоянии затмить циркача-барабанщика. В некотором смысле это двойник того, кто стоит на балконе.

Совет будущему властителю. Можно было бы написать учебное пособие для желающих совершить восхождение на пик власти. Иконография фашистского диктатора, фильмы и фотоснимки – это кладёшь подробностей: как надо шагать, стоять, приветствовать. Лево́й руко́й надо держаться за пряжку. Вытянутая правая устаёт от продолжительного римско-германского приветствия, кинохроника показывает, как выйти из затруднительного положения. Вождь эффектно сгибает руку в локте и рыаком опускает её. При позировании перед фотоаппаратом – нос кверху и несколько вбок, руки – на детородной органе. И ещё один совет будущему властителю: держаться подальше от телевизионных камер. Домашний экран с его эффектом интимности и неизбежным натурализмом разоблачает мистическую тайну, разрушает харизму. Можно предположить, что испытания телевидением не выдержали бы ни Гитлер, ни тем более Сталин. Голос вождя должен раздаваться в каждой квартире, но видеть его нужно лишь изредка, издалека.

Сын и супруг. Речи Гитлера, во время которых вождь впадал в иступление, демонстрируют особый аспект националсоциализма. Изнеможённый оратор сходил с трибуны словно после повторных оргазмов. Отец нации одновременно является и её великим сыном – так именовал себя сам Гитлер – и вступает с ней в инцестуальную связь. Но в таком же трансе пребывает и оглушённая, изнасилованная и осчастливленная толпа. Очевидно, что политическое и экономическое истолкование тоталитарных режимов не исчерпывает их сути; не учитывая подсознательного, сексуально-агрессивного подтекста национализма и фашизма, невозможно прочесть и «текст».

Вторая крамола. Вместе с тем фашизм относится к сексуальности приблизительно так же, как к религии: он видит в ней соперника. Эротика есть достояние буржуазного декаданса, растленного Запада. (В традиционном геополитическом раскладе немецкого национализма Германия, «срединная держава», – не Запад). Секс отвлекает молодёжь от великих национальных задач. Рекорд ханжества поставила сталинская система, где секс был второй крамолой. Но и в нацистской Германии приоритет государства во всех сферах жизни и этика самоотречения были призваны обесценить и погасить инстинкт самореализации личности там, где личность ещё обладала свободой

реализовать себя, – в интимной жизни. Сексуальность должна быть вытеснена, но особым образом: она должна быть мобилизована. Огромный голый атлет с факелом, работы скульптора Арно Беккера, называется «Партия». Другое творение мастера – «Шагающий»: махина из мрамора вдвое больше натуральной величины. Плечистый мужской торс, без головы – зачем она? – но с мощный атрибутом плодovitости. Воин-производитель.

Чёрный орден. За этим компромиссом просматривается ещё один слой. В год окончания первой Мировой войны вышло в свет сочинение Ганса Блюэра «Роль эротики в мужском обществе». Главная мысль: новую социальную общность и народное государство могут построить лишь сплочённые единой волей мужчины, не обременённые семьёй, отказавшиеся приносить себя в жертву женщине. Презирать слабый пол автор научился у Вейнингера («Пол и характер», 1903). Эрос должен быть возвышен и освобождён от биологической функции продолжения рода. Быть мужчиной значит быть первым в спорте и борьбе, уметь беспрекословно подчиняться старшему и уметь повелевать. Настоящий мужчина – не хлипкий интеллигент, не эстет-декадент, не буржуазный прожигатель жизни. Настоящий мужчина – это истинный немец: он бесконечно выше развратного француза, коррумпированного итальянца и, само собой, торговца-еврея. «Мужские союзы» Блюэра – предшественник СС. Вместе с поэзией казармы черномундирная рать переняла от них и отчётливый привкус гомосексуализма.

Аскет-подвижник. У фюрера, как известно, не было семьи. История с самоубийством племянницы Гели Раубал держалась в тайне. Дневник актрисы Евы Браун свидетельствует, что и она не раз помышляла о том, чтобы свести счёты с жизнью. В качестве долголетней спутницы вождя Ева появлялась лишь в интимном кругу, никогда не была хозяйкой дома ни в столице, ни в Берхтесгадене и стала официальной супругой в день совместного самоубийства. Вообще же Гитлер мало интересовался женщинами: его мистической подругой была нация. Зато Геринг и Геббельс охотно демонстрировали своё семейное счастье. Пропаганда славila семейные добродетели. Был учреждён специальный орден для многодетных матерей.

Рур и Тевтобургский лес. Победа Арминия Херуска над римлянами в сентябре 9 года нашей эры была одержана в лесных дебрях – недалеко от Рурской области, будущего стального сердца Германии. Легко заметить фундаментальное противоречие фашистской утопии: она устремлена одновременно вперёд и назад. Идиллия и агрессия – в одно и то же время. Восстание против «Запада», против капитализма, против космополитического города, против неизбежного вовлечения в мировую экономическую систему, одним словом, против нового времени: антимодернизм. В этом смысле фашизм «реакционен». Вместе с тем он ультра-«прогрессивен». Могучая промышленность, химия, машиностроение, авиация, новейшие виды вооружения, самое боеспособное в мире войско. Гитлер начинает со строительства автострад.

Юный Зигфрид. Происходит удвоение эстетики: воин и пахарь. Самая модернизированная страна Европы воображает себя нацией средневековой патриархальности. Назад, в германские леса. Здоровая деревня есть оплот нации. Популярный сюжет нацистской живописи – крестьянская невеста: косы вокруг лба, манерно-невинный наклон головы, потупленный взгляд, платице в народном стиле. Вечный архетип для всех будущих романтиков нацизма. Ибо нацизм защищает «самое дорогое» – провинциальную идиллию. Он срывает вражескую маску: враг – это инородец. Тот, кто хочет жить за наш счёт, растоптать наши национальные ценности. Здесь сами собой напрашиваются параллели: поворот к официальному национализму в СССР в тридцатых годах легко объясним политически, стратегически и так далее; но его неизбежность была связана с самой природой режима. И когда спустя полвека режим испустил дух, национализм выпорхнул из него, как душа из мёртвого тела. Книга корифея земляной литературы Василия Белова «Лад» – это, конечно, ещё не фашизм. И в каком-то смысле «уже».

Калиф на час, герой – на семнадцать мгновений. Ни один телевизионный сериал в недавнем прошлом не пользовался таким успехом, как «Семнадцать мгновений весны». Благодарные зрители готовы были простить сценаристу и режиссёру очевидную ложь и нелепость сюжета. Фильм был создан для ничего не знающей молодёжи, но и умудрённые жизнью люди соглашались верить, что против Гитлера сражалась одна лишь Красная Армия,

в то время как вероломные союзники только и думали о том, как бы получше воспользоваться плодами чужой победы. А главное, никому, по-видимому, не пришло в голову, что главный герой, правая рука шефа заграничной службы Главного имперского управления безопасности бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, вскоре представшего перед судом в Нюрнберге, – не мог бы достичь столь высокого положения, не будучи в свою очередь нацистским преступником.

До скорого свидания. Но дело в том, что такой вопрос и не мог возникнуть. В данной аксиоматической системе, в рамках предложенной эстетики, вопрос: что за птица этот Штирлиц, как он достиг таких высот, почему на протяжении всех «семнадцати мгновений» он ничем другим не занят, кроме как тем, что назначает явки, завязывает тайные связи и передаёт информацию, – вопрос этот относится к разряду некорректных, то есть таких, на которые нельзя дать осмысленного ответа. Не имеет значения, что происходило до того, как хронометр начал отсчитывать эти мгновения. Неважно и неинтересно, чем он, собственно, ведал в службе безопасности с её семью отделами, которые готовили кадры для гестапо и СД, занимались контрразведкой, слежкой, истреблением коммунистов, социалистов, священнослужителей, масонов, сектантов, депортацией евреев, конструированием газовых камер и множеством других дел. Стройный, сдержанный, элегантный, мужественно-скромный, одинокий, рыцарственный, беззаветно преданный своему долгу, лишивший себя женщин, холодный и нежный, чувствительный и бесстрашный офицер-картинка, с головы до ног в чёрном, в глянцевиных сапогах, со свастикой на рукаве, был не чем иным как олицетворённой красотой фашизма, песнью любви к фашизму, – что бы ни намеревались представить в образе Штирлица те, кто его придумал и с блеском воплотил на экране.

Творческий путь Геббельса

Есть что-то извращённое в том, что наша память прикована к именам этих людей. Страшный век, оставшийся позади, – для нас это век двух самых разрушительных войн, век концентрационных лагерей, век тайной полиции, век Сталина и Гитлера.

Поистине великое унижение нашего времени состояло в том, что на ролях всесветных властителей оказались люди низкие и бессовестные, умственно ограниченные, люди примитивного образа мыслей и невысокой культуры. «Руководство, – заявил в одной из своих речей Геббельс, – имеет мало общего с образованием». Он был прав. Можно сколько угодно говорить о выдающемся коварстве Сталина, дивиться его инстинктивному пониманию методов и механизмов неограниченной власти, – достаточно прочесть сочинения вождя, чтобы оценить его убогий интеллект. Можно отдать должное дару гипнотизировать толпу, которым владел Гитлер, – его хаотическая книга оставляет такое же прискорбное впечатление, как и труды Сталина. Ничего общего с величием – речь идёт о выдающейся низости.

Власть развращает её носителя, власть даёт возможность раз-вернуться вволю его низменным инстинктам. Но существует обаяние власти. Власть, и тем более – всеильная власть, бросает особый отсвет на всё, что творит властитель. В устах тирана банальности начинают казаться прозрениями, пошлость преобразается в глубину мысли, площадной юмор становится тонким остроумием. Жестокость, подлость, аморализм – воспринимаются как веления высшей необходимости. Аура всемогущества заставляет рабов романтизировать властителя, покло-няться божественным сапогам. Этим объясняется желание видеть в диктаторе, вопреки очевидности, великого человека, на худой конец представить его демоном, возвести в ранг Антихриста. Мысль о том, что нами правил карлик, невыносима.

Ни один русский самодержец не пользовался властью, сравнимой с властью Сталина, никакой временщик не обладал столь неограниченными возможностями злоупотреблять властью. Что касается Гитлера, достаточно будет напомнить о специальном решении рейхстага (пре-вратившегося,

подобно Верховному Совету СССР, в машину для аплодисментов) о праве фюрера распоряжаться судьбой каждого гражданина страны, игнорировать любой закон.

Пауль Йозеф Геббельс находился – вместе с Германом Герингом, Мартином Борманом и Генрихом Гиммлером – на высшей ступени у подножья вождя. Геббельс был куда более яркой фигурой, чем хвастливый солдафон Геринг, непроницаемый Борман и страшный, но безликий Гиммлер. Низкорослый, щуплый, припадающий на левую ногу человек, наделённый к тому же отнюдь не арийско-нордической внешностью, был снедаем неутолимой жадой деятельности, обладал способностями незаурядного оратора, он был единственным в нацистской верхушке человеком пера – писателем и публицистом – и одним из редких в этой среде интеллигентов.

Сохранилось большое количество фотографий Геббельса, почти все они (как и кадры киноплёнки) тщательно отобраны, процежены, почти все носят более или менее парадный характер. Но, в отличие от множества документов такого рода, среди них нет обычных для тоталитарной пропаганды фальсификаций. На многое из того, что в те времена делалось и воспроизводилось напоказ, сегодня невозможно смотреть без смеха и отвращения; фильмы и фотографии, которые должны были внушать благоговение и восторг, обладают разоблачительной силой похлеще всяких карикатур. Это в равной мере относится к иконографии главарей, к документально-пропагандистским лентам наподобие фильмов Лени Рифеншталь и, конечно, к псевдо-художественной продукции. Правда, среди увенчанных наградами творений государственных живописцев («Знаменосец» – рыцарь с лицом Гитлера, в латах, на коне, с кроваво-красным стягом, «Рейхсмаршал Герман Геринг на охоте» и т.п.) полотен с Геббельсом не было.

Много снимков жестикулирующего Геббельса, с разверстым ртом, с вздымными кулаками или растопыренными пальцами перед грудью, – он на трибуне. Поясной фотографический портрет начала сороковых годов представляет имперского министра народного просвещения и пропаганды и председателя Палаты по делам культуры в минуту импозантной задумчивости. Он в двубортном полупиджаке, полумундире, в шёлковом галстуке, на правом

рукаве красная повязка с белым кругом и свастикой, на груди круглый золотой значок партии. Тёмные волосы без пробора зачёсаны назад. Геббельсу 44–45 лет. Довольно правильные черты лица, которым, однако, убегающий назад лоб и выступающая верхняя челюсть придают нечто крысиное; беспокойный взгляд, напряжённое выражение, словно он проглотил комок слюны, глубокие складки на щеках и вокруг рта – следы государственных забот. Общее впечатление нервного и даже несчастливого субъекта.

Любопытная фотография начала тридцатых годов: «эпоха борьбы». Власть ещё не завоёвана. Геббельс – ему 34 года, – улыбаясь, выходит из помещения избирательного участка. Длиннополое пальто-макинтош не может скрыть недостатка его фигуры, он коротконог. Отчётливо видна увечная левая нога. После переворота 1933 г. этот слишком реалистический снимок не публиковался.

Ещё одна фотография. Главный уполномоченный по ведению тотальной войны, в длинном кожаном пальто, в орлиной фуражке, непомерно большой для его маленькой головы, с римским жестом – хайль Гитлер! – вышагивает вдоль шеренги солдат на площади маленького городка в Восточной Пруссии. Март 1945 года. Из рядов на Геббельса смотрят пожилые люди с плохой выправкой, и среди них мальчик лет двенадцати с Железным крестом на груди, в огромном шлеме, который ему тоже слишком велик. У министра пропаганды грозно-решительное лицо, провалившиеся глаза. Геббельсу остаётся жить два месяца.

Последний фотоснимок сделан в Берлине во дворе имперской канцелярии в первых числах мая 1945 г. Среди груды кирпичей лежит что-то страшное, видна скрюченная обгорелая рука. Штамп по-русски: «Совершенно секретно! Оглашению не подлежит!»

Как все или почти все руководители Третьей империи, он был выходцем из мещанской мелкобуржуазной среды. Его отец, в юности – мальчик на побегушках, выбился в служащие чулочной фабрики. Мать, наполовину голландка, была малограмотной служанкой. Геббельс родился в октябре 1897 г. в городке Рейдт, который ныне является районом города Мёнхенгладбах, в Рейнской области. Происхождение его увечья остаётся неясным. Косолапость

(pes varus, подвёрнутая внутрь стопа) почти всегда бывает врождённой, чаще встречается у мальчиков. Но все врождённые или наследственные недуги и деформации с точки зрения нацистской идеологии были признаком расовой неполноценности. В «Листках воспоминаний», предваряющих дневники Йозефа Геббельса, он довольно невразумительно рассказывает о костном заболевании, долгом и безуспешном лечении. Инвалидность отгородила юного Геббельса от сверстников («мои одноклассники меня никогда не любили»), лишила возможности заниматься спортом, позже сделала непригодным для военной службы.

Случай Геббельса – образцовая иллюстрация психологического явления, называемого компенсацией. Я для вас инвалид, не мужчина, неполноценный человек, – так вот, я вам всем покажу. Геббельс, единственный в многодетной семье, поступает в гимназию, прекрасно учится и заканчивает школу в числе лучших. Учитель словесности, еврей, опекает его, находит у него блестящие способности.

Геббельсу было 17 лет, когда началась Мировая война, он записался в армию добровольцем, был забракован врачебной комиссией (позже он рассказывал, что хромота из-за ранения, полученного на фронте), спустя три года имматрикулировался в Бонне, сменил несколько университетов: Фрейбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, Берлин, ютился в дешёвых комнатухах. После первого семестра ему пришлось просить като-лическое общество поддержки неимущих студентов о финансовой помощи. Геббельс удостоился похвальных отзывов. Он закончил учёбу в Гейдельберге, под руководством известного германиста Гундольфа, как на зло тоже еврея, защитил диссертацию о немецком драматурге XIX века Вильгельме Шютце и получил вожделенный докторский титул.

Он был влюбчив, «вечно бегал за юбками», по словам товарища школьных и студенческих лет Фрица Пранга. «Видимо, инвалидность и маленький рост пробуждали у женщин материнские чувства. А затем, – добавляет Пранг, – он переходил в наступление». Самое стойкое увлечение этой поры – Анка Штальгерм, прототип героини романа «Михаэль»; ей адресованы горы писем и посвящено немало выпренних, патетически-

прочувствованных и слюнявых страниц в «Листках воспоминаний». Но у него есть соперник. Геббельс одерживает победу. В летний день на лугу под Фрейбургом, в стоге сена происходит великое событие.

В конце концов фрейлейн Штальгерм оставила Геббельса, но десять лет спустя произошла новая встреча. К этому времени Анка пережила неудачный брак, развелась с мужем, бедствовала; она обратилась за помощью к могущественному министру пропаганды. Геббельс устроил её в редакцию женского журнала. При этом случилась неприятность: бывшая возлюбленная не умела держать язык за зубами. Разнеслась весть о том, что Геббельс когда-то преподнёс ей «Книгу песен» Гейне с красноречивой дарственной надписью. Того самого Гейне, которого он, в первые же недели после своего назначения министром, распорядился включить в списки книг, подлежащих публичному сожжению.

Преемницей Анки Штальгерм стала знакомая Пранга (вступившего в это время в нацистскую партию), молодая учительница по имени Эльза, девушка из состоятельной семьи и, увы, дочь еврейской матери, как выяснилось позже, к великому разочарованию поклонника. Поистине злой рок преследовал молодого Геббельса. Между тем состоялась помолвка, которая длилась пять лет, нарушаемая бурными ссорами и вновь скрепляемая клятвами в верности. Геббельс гол как сокол, родители Эльзы решительно против их брака; так ничего и не вышло.

О ранних литературных опытах Геббельса имеются общие сведения: он писал рассказы, драмы в прозе и стихах («Скиталец», «Одинокий гость», «Кровавый посев»; последние две пьесы были поставлены в маленьком берлинском театре в 1927 и 1929 гг.), сочинил стилизованную биографию некоего Михаэля Фоормана, своего alter ego. В студенческие годы Геббельс много и жадно читает, его интересуют Маркс, Ницше, Шпенглер, он в восторге от Достоевского, в котором видит национального пророка, мистическую душу России. Жизнь не ладится, родители едва в состоянии наскрести денег на учёбу, рестораны, пикники и путешествия оплачивает подруга. Окончив курс, новоиспечённый доктор философии остался без работы, пришлось вернуться в Рейдт. На дворе — двадцатые годы.

Республика, сменившая империю Гогенцоллернов, имела своей столицей, как и прежде, Берлин, но называлась Веймарской в честь городка в Тюрингии, где некогда жили Бах и Лука Кранах-старший, Гердер, Виланд, Шиллер и Гёте. В августе 1919 года в Веймаре Национальное собрание приняло новую конституцию страны. Предыдущее государство не сумело прожить и полвека, последующее погибло на 14-м году своего существования; чтобы понять, отчего это произошло, полезно кое-что вспомнить.

На исходе Мировой войны (которая тогда ещё не называлась первой) Германия, как ни удивительно, стояла на пороге победы. Никогда военно-стратегическое положение не выглядело столь блестящим. На востоке армия занимала линию от Эстонии до Ростова-на-Дону. Западный фронт находился вдали от границ рейха. Было решено закончить войну одним ударом. Весной 1918 г. немцы прорвали фронт в Арденнах. За этим последовало ещё два рывка вперёд; снова, как в начале войны, победоносная рать докатилась до Марны. Но затем наступательный порыв иссяк. На помощь французам и англичанам пришли американцы. Германия была истощена четырёхлетней войной. Голодало не только население в тылу, но и воюющая армия. Вступление в войну Соединённых Штатов окончательно отняло шансы на победу.

Монархия рухнула, в мае 1919 г. республиканскому правительству был представлен проект Версальского мирного договора; он вызвал гнев и отчаяние. К урону, нанесённому войной, присоединилась перспектива новых долговременных жертв и унижений. Договор предусматривал потерю государственной территории, на которой проживала десятая часть населения страны, потерю трёх четвертей запасов железной руды, четверти запасов угля и одной шестой посевных площадей. Восточная Пруссия была отделена от остальной Германии так называемым Польским коридором. Германия лишилась всех своих колоний в Африке и других частях света; все заграничные вложения подлежали конфискации. У неё был отнят торговый флот, все главные реки страны и Кильский канал были интернационализированы, предусматривалась оккупация рейнского Левобережья и правобережной части нескольких крупных городов на Рейне, страна не имела права производить оружие, вооружённые силы не должны были превышать численность, необходимую для подавления внутренних беспорядков, и так далее. Специальная статья Версальского договора возлагала

на Германию всю вину за Мировую войну. И, наконец, предстояло выплачивать мил-лиардные контрибуции.

Договор был подписан, воцарился мир; как мы знаем, он длился недолго. Впервые за всю историю, если не считать короткого эпизода революции 1848 г., в Германии был провозглашён республиканский строй. Но это была, как кто-то съязвил, республика без республиканцев.

Драма Веймарской республики состояла из трёх актов. Первый – смутные годы становления демократии и одновременно годы, когда казалось, что демократия себя дискредитировала: экономическая разруха, уличные бои, нищета, голод, фантастическая инфляция; к концу 1923 г. доллар стоил 4 миллиарда 200 миллионов марок, деньги стали во много раз дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Акт второй: по контрасту, как и полагается в театре, сцена залита ярким светом – «золотые двадцатые». Фактически всего четыре года, с 1924 по 1929. Стабилизация, упрочение валюты, приток иностранного капитала, подъём немецкого экспорта, время относительного благополучия, даже расцвета, эра фокстрота и экстравагантных мод; время, когда крайние антиконституционные партии и группы ненадолго теряют престиж. Последний акт – крах нью-йоркской биржи и мировой экономический кризис, поразивший все европейские страны, особенно Германию. Тут-то и ожила партия, о существовании которой все забыли: в точном соответствии с кривой роста безработицы (в 1929 г. 1,8 млн. безработных, в 1932 – 5 с половиной миллионов) идёт нарастание националсоциалистического «движения». Когда мы в сотый раз задаём себе вопрос, как могло случиться, что в Германии воцарился каннибальский режим, нам приходится принять во внимание целый клубок обстоятельств.

Кризис разорил предпринимателей и растравил старые раны. Людям казалось, что они со всех сторон окружены врагами. Враги гнездились и внутри – возродилась легенда об ударе ножом в спину: если бы не измена в тылу, доблестная армия одержала бы победу, не было бы Версаля и так далее. Общая нестабильность подорвала доверие к правительству и государству, у республики снова не осталось приверженцев. В читающей стране писатели и публицисты внушали мысль о том, что буржуазный либерализм, парламентская

демократия, многопартийная система изжили себя. Расцвёл миф о новом справедливом мире, который строится в Советской России. Умножились ряды коммунистической партии. С другой стороны, ожил национализм, который всегда был силён в этой стране: так называемое национальное самосознание стало приобретать агрессивно-злокачественные черты.

Задолго до того, как Йозеф Геббельс стал одним из тех, чья нравственная и политическая физиономия сформировала отвратительный лик эпохи, современность наложила резкий отпечаток на его судьбу. Путь Геббельса, полунищего студента, антикапиталистического бунтаря неопределённой ориентации, субъекта с истерическими наклонностями, с уязвлённым честолюбием, крикуна, патриота, антисемита и, наконец, фанатика-националсоциалиста, — путь этот, при всём том, что он привёл Геббельса на высоты власти, весьма типичен.

Первые пробы пера малоудачны, попытки пробиться в журналистику и литературу безуспешны, статьи, которые он рассылает в редакции, возвращаются, пьесы никто не хочет читать. Это не смущает автора; он уверен, что его час придёт. Геббельс захвачен революционной идеей. Эта идея в известной мере сближает его с так называемой Консервативной революцией, широко распространившимся в двадцатые годы и достаточно неоднородным идейно-политическим течением, которое возглавили блестящие умы; Геббельс — их карикатурное повторение. Он ещё не нацист, он станет им завтра.

Время от времени удаётся найти работу то там, то здесь: мелким служащим в кёльнском филиале Дрезденского банка, на кёльнской бирже; его не берут в сотрудники берлинской газеты, не принимают в театр. Зато удалось устроиться секретарём депутата рейхстага от маловлиятельной правой партии. Геббельс печатается в партийной газетке. Важное знакомство: на молодого человека обратил внимание гаулейтер округа Рейн-Рур и предложил работу в своей конторе.

Старинное, вышедшее из употребления слово *Gau* возродилось в нацистском лексиконе: оно означало территориальную единицу во главе с местным партийным руководителем. Партия, ещё очень немногочисленная, начала распространять своё влияние за пределы Баварии. Вскоре Геббельс

выдвинулся как оратор на митингах и автор зажигательных статей в только что основанном журнале «Националсоциалистические письма». К этому времени он уже состоит в партии. Многообещающего активиста представляют самому Гитлеру, выпущенному на поруки из крепости в Ландсберге близ Мюнхена, куда фюрер угодил после провалившегося путча 1923 года. В феврале 1925 г. запрещённая партия, как птица Феникс, восстала из грязного пепла. В июле вышел первый том «Моей борьбы». Вскоре после личного знакомства состоялась вторая встреча с Гитлером на партийном слёте в Бамберге.

Это начало карьеры Геббельса. Дневники второй половины 20-х годов дают представление о бурной деятельности этих лет: собрания, пропагандистские акции, метания по стране, нередко вместе с вождём. Всё чаще на фотографиях той поры он стоит позади Гитлера. Геббельс надрывается на митингах, сам становится гаулейтером Берлина с собственным штатом, основывает (июль 1927) газету «Атака» под девизом: «За угнетённых! Против эксплуататоров!». Сначала газета выходит один раз в месяц тиражом 2000 экземпляров, потом дважды в неделю и, наконец, ежедневно. В каждом номере – передовица редактора, грозные инвективы против веймарского режима, агрессивное юдофобство и воспевание героических деяний партии. В следующем, 1928 году Геббельс избран депутатом рейхстага (один из 12 мандатов, добытых партией на выборах) и получает от Гитлера назначение возглавить всю партийную агитацию и пропаганду.

И, наконец, ещё одно событие: чрезвычайно выгодная женитьба. Магда Квандт, разведённая жена фабриканта – высокая светловолосая дама северного типа, с хорошими средствами, горячая поклонница фюрера и образцовая мать: в браке с Геббельсом родилось шесть детей, все дети (как и сын от первого брака) получили имена на букву Г, ту же, с которой начинается фамилия вождя. Гитлер выразил желание быть свидетелем на бракосочетании и почётным гостем пышно отпразднованной свадьбы.

Роман «Михаэль. Немецкая судьба в листках дневника», самое крупное художественное произведение Геббельса, был написан в 1921–22 годах. Все издатели, которым автор разослал книгу, отвергли её. Роман вышел лишь в конце двадцатых, в издательстве Eher, которое с 1920 г. принадлежало

нацистской партии и в 1925-26 годах выпустило оба тома «Моей борьбы» Гитлера. После захвата власти Егер превратился в могущественный концерн, к концу войны контролировал сбыт четырёх пятых всей немецкой газетно-журнальной продукции. Но мы пока ещё в Веймарской Германии.

Авторское предисловие к роману даёт представление о его слоге. «Дневник Михаэля – это памятник немецкого горения и самоотдачи, который потрясёт и утешит. В его скромном зеркале зеркально отражены все те силы, которые сегодня формируют нас, молодых, для единой мысли, а завтра – для власти. Вот почему жизнь и смерть Михаэля – больше, чем случай и слепая судьба. Это знак времени и символ будущего... Сегодня юность исполнена жизни больше, чем она думает. Юность всегда права перед лицом старости. Мы ждём, когда придёт день, который несёт ветер бури».

Дневниковый жанр – не случайность: дневник был для Геббельса многие десятилетия главной формой литературного самовыражения и самолюбования. Геббельс начал вести его школьником; в военные годы рейхсминистр диктовал свой дневник секретарям; последняя запись сделана в день смерти. Весна. Герой романа возвращается с фронта. Он едет в поезде. «Под бёдрами у меня уже не фыркает кровный жеребец, я не сижу больше на пушечных лафетах, не ступаю по глинистому дну окопов. Давно ли я шагал по широкой русской равнине или по безрадостным, изрытым снарядами полям Франции. Всё прошло! Я восстал из пепла войны и разрушения, словно Феникс. Родина! Германия!»

Михаэль становится студентом в Гейдельберге. Что он изучает, не так уж важно. Профессора-педанты, студентки – синие чулки, подготовка будущих учёных сухарей, всё это не для него. Главное – стать мужчиной и новым немцем. Он слушает лекцию о прародине германцев. Какое счастье узнать, что наши предки жили на Нижнем Дунае и берегах Чёрного моря. Знакомство со студентом Рихардом, тот рассказывает о марксизме: скука, голый рационализм, деньги, желудок и никаких идеалов.

Дружба с девушкой Гертой, гуляния, разговоры. «Сегодня для молодого немца есть только одна профессия: защищать Германию». – «В вашей душе живёт поэт и солдат». На прощанье она дарит ему гвоздику. В дневнике Михаэля появляется запись: «Герта Гольк, я люблю тебя!!!»

Герой уезжает в Мюнхен, новое знакомство: русский студент Иван с несколько несурзной фамилией Винуровский. Он даёт Михаэлю читать Достоевского. Михаэль перечитывает письма Герты и упивается Достоевским. «Вспыльчивая, резкая, бесцеремонная, вечно что-то замышляющая, полная ожидания, надежды, бесконечно злая и бесконечно добрая, полная глубочайших страстей, добросердечная и нежная, фанатичная во лжи и в правде, юная, нетронутая и при этом богатая глубиной, радостью, юмором, болью и тоской, вот она, душа славян, душа России». Возвращение и долгожданная встреча с Гертой. Первый поцелуй, за которым следует шеренга восклицательных знаков. Ночью под окном у Герты; он кладёт на подоконник букет красных роз и слагает стихи. На другой день возлюбленная появляется с розой на груди. Не правда ли, это что-то означает? И сколько можно ждать. Вечер вдвоём. Герта (наконец-то!) «одаряет своими дарами».

Излияния перемежаются с раздумьями. Михаэль размышляет о евреях. Его национальное и политическое самосознание крепнет под влиянием этих мыслей.. «Еврей противоположен нам по своей сущности. Он осквернил наш народ, замарал наши идеалы, парализовал силу нации. Он неспособен к творчеству. По своей сущности он предрасположен к торгашеству. Он торгует всем: тряпками, деньгами, акциями, лечебными средствами, картинами, книгами, партиями и народами».

Михаэль встречает вождя. Гитлер не назван по имени, но читатель догадывается, о ком идёт речь. Глаза фюрера подобны двум голубым звёздам. Он произносит речь. Михаэль в экстазе, он чувствует себя бойцом: «Я надеваю шлем, опоясываюсь мечом... Быть солдатом! Стоять на посту! Солдат на службе революции...» Мысли о пролетариате. «Рабочему классу предстоит выполнить свою миссию – и прежде всего в Германии. Он должен освободить немецкий народ внутренне и внешне. Это всемирная миссия. Если Германия погибнет, погаснет свет мира».

Между тем герой снова в Мюнхене. Письмо от Герты: оказывается, и она здесь. Вместе гуляют по городу. Швабинг, квартал художников и писателей: сволочный народ. Все оторвались от почвы; разлагают нацию; давно пора их отсюда выкурить. Несколько времени спустя происходит размолвка. Герта ревнует Михаэля к политике. Он пылает огнём не к ней. Прощальное письмо. Она больше не верит в его любовь. Русский друг Иван возвращается в Россию,

где его ждёт большевистская пуля. Михаэль идёт работать на шахту и гибнет от несчастного случая на производстве.

Идейно-сусальное творение Геббельса не имело успеха. Серьёзная критика его не заметила.

«...Всё – словно сон. Вильгельмштрассе принадлежит нам. Фюрер уже работает в имперской канцелярии. Мы стоим наверху у окна, сотни и сотни тысяч людей в блеске пылающих факелов проходят мимо престарелого президента и молодого канцлера, восклицая слова благодарности и восторга... Вот он, взлёт нации! Германия пробудилась!»

Дневниковой записью в книге Геббельса «Из отеля Кайзергоф – в рейхстаг» датирована 30 января 1933 г., то есть днём, когда 85-летний президент республики фельдмаршал Пауль фон Бенекендорф унд фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Подробности захвата власти стилизованы в привычном для Геббельса истерически-выспреннем стиле; многостраничное изделие украшает надпись: «Эту книгу я посвящаю ФЮРЕРУ».

При дележе постов и привилегий так называемые старые борцы, обладатели партийных билетов с номерами до 100 тысяч, те, кто имел право носить золотой значок партии, – были вправе рассчитывать на благодарность вождя. В марте 1933 года «имперский руководитель пропаганды Националсоциалистической германской рабочей партии и гаулейтер Берлина» занял пост министра народного просвещения и пропаганды. Весьма скромный подарок. Другим соратникам достались более важные министерские портфели: оборона, иностранные дела, внутренние дела, финансы, юстиция. С самого начала своей Геббельс был фанатичным приверженцем вождя (слово «фанатичный» в нацистском обиходе употреблялось в положительном смысле, близком к «беззаветно преданному», в советском политическом языке). Теперь он чувствовал себя обойдённым. Его старания дискредитировать Риббен/тропа, заключить соглашение с Герингом против Бормана, позднее, в союзе с Герингом, оттеснить тройку Ламмерс (начальник имперской канцелярии) – Борман (начальник личной канцелярии фюрера) – Кейтель (шеф верховного командования вермахта), имевшую право каждодневного входа к Гитлеру,

составляют особую главу его биографии; мы не станем на ней останавливаться. Тем не менее очень скоро стало ясно, что его ведомство по степени важности и влияния отнюдь не уступает другим высшим учреждениям нового государства.

Компетенция шефа пропаганды в нацистском рейхе была чрезвычайно широка. Мало сказать, что министерство выполняло функции, аналогичные тем, которыми в СССР ведали Отдел пропаганды ЦК, министерства народного образования и культуры, комитеты по делам искусств и кинематографии, Главлит и ещё множество учреждений. Пропаганда, по убеждению Геббельса, не обслуживает власть, но сама есть форма проявления государственной власти, больше того, пропаганда – синоним власти; правоту этого взгляда он подтвердил на деле. Собственно министерский штат насчитывал около 1000 сотрудников, по большей части молодых людей и, само собой, членов партии. Министерство состояло из 10 отделов: административно-юридического, пропаганды, радио, печати, кино, литературы, театра, музыки, изобразительных искусств и иностранного отдела.

Вот когда развернулись во всём блеске его способности. Нигде необычайная энергия Геббельса не проявилась так ярко, как на этом посту. Никогда его непомерное тщеславие не получало столь полного удовлетворения. В импозантном кабинете с огромным глобусом и портретами вождя и Старого Фрица рейхсминистр отдаёт распоряжения, сидя за необъятным столом, чьи габариты не далеки от размеров небольшого жилого участка. Этот стол меньше циклопического рабочего стола фюрера в новой гигантской, воздвигнутой лейб-архитектором Шпеером имперской канцелярии, где надо было прошагать пешком 300 метров, прежде чем попасть в зал, который служил Гитлеру рабочим кабинетом, но и стол министра пропаганды предназначен для той же цели: это символ бюрократического могущества.

Тщеславие Геббельса не принимало таких гротескных форм, как у Геринга, люди, знавшие Геббельса вблизи, подчёркивают относительную скромность его образа жизни; он избегал показной роскоши, разве только в загородных поместьях позволяя себе жить на широкую ногу. Тем не менее стоит упомянуть о том, что высокий пост изрядно обогатил имперского шефа пропаганды. Финансовые документы, обнаруженные в его бумагах, позволяют судить о его доходах. В 1933 г. д-р Геббельс заработал сравнительно немного – 33367 марок, зато в следующем году уже около 135 тысяч. Сюда не вошли его

литературные гонорары – астрономические авансы, которые он получал за сборники речей и другие сочинения; в 1936 г. они составили 290 тыс. марок. В 350 тысяч обошлось казне строительство личного бомбоубежища Геббельса под его берлинской квартирой.

Покровитель искусств сумел в полной мере реализовать и другие свои наклонности. Сексуальный энтузиазм д-ра Геббельса не угасал с годами, его приключения с актрисами кино и театра, с секретаршами, с полудевами из разных слоёв общества были постоянной темой кра-мольных анекдотов, которые в Третьей империи рассказывались так же охотно, как в Советском Союзе. В 1936 году Геббельс познакомился с 20-летней чешской киноактрисой Лидой Бааровой, успевшей сняться в паре со знаменитым Густавом Фрелихом. Загородный дом Фрелиха, где жила Баарова, на речном острове Шваненвердер под Берлином, находился по соседству с виллой министра пропаганды. История получила широкую огласку, Магда Геббельс собиралась возбудить бракоразводный процесс. Связь была прекращена по требованию Гитлера и едва не стоила Геббельсу карьеры. Фильмы с Лидой исчезли с экранов.

Не прошло и месяца после переворота, не успел ещё рейхсминистр разместиться в здании новообразованного министерства в правительственном квартале на Вильгельмштрассе, как в гостиницу Кайзергоф были созваны видные представители немецкого кино (в 20-х годах лидирующего в Западной Европе). Геббельс поделился своими соображениями о будущем киноискусства в новом государстве. Кино должно оставаться свободным, «но обязано приучить себя к определённым нормам». Вопреки заклинаниям искоренить «культур-большевизм», он назвал, ко всеобщему удивлению, в числе своих любимых фильмов прогремевший незадолго до этого во всём мире «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна.

Когда в сентябре 1933 г. была учреждена имперская Камера (палата) культуры с доктором Геббельсом в качестве президента, она стала чем-то вроде второго министерства внутри главного министерства. Она должна была монополизировать позиции Геббельса в сфере культуры, поставив его выше министра внутренних дел Вильгельма Фрика и главного идеолога партии Альфреда Розенберга (оба казнены в 1946 г. по приговору Нюрнбергского

трибунала). Высшая задача Палаты состояла в том, чтобы положить конец независимой творческой деятельности в любых её проявлениях. Членом Палаты должен быть не только каждый писатель, художник, артист, режиссёр, музыкант и т.д., – это уж само собой, – но и каждый книготорговец, издатель, владелец кинотеатра или художественной галереи, даже изготовитель радиоаппаратуры и музыкальных инструментов. Для разных профессий существуют специальные отделы – отдельные камеры.

Далее министр пропаганды обнародовал закон, регламентирующий работу редакторов и журналистов: работник печати приравнен к государственному служащему, критика режима исключена, пресса контролируется и направляется государством. При этом каждый журналист обязан представить свидетельство об арийском происхождении для себя и своей жены.

Несколько позже это правило было распространено и на деятелей искусства. Для всемирно известного кинорежиссёра Фрица Ланга, автора «Нибелунгов» и «Метрополиса», ветерана первой Мировой войны, который был сыном еврейки, могущественный шеф пропаганды сделал исключение, разрешив ему не представлять арийское свидетельство. Он даже предложил Лангу высокий пост. Ланг уклонился от этой чести и эмигрировал в США.

Нужно заметить, что фильмы, которые откровенно, в лоб пропагандировали идеалы националсоциализма («Юный гитлеровец Квекс» Ганса Штейнгофа, «Штурмовик Бранд» и тому подобные, немедленно появившиеся на экранах изделия), в общем ставились редко, исключением на этом фоне были высоко оценённые Гитлером квази-документальные пропагандистские киноленты Лени Рифеншталь «Победа веры» и «Триумф воли», «Праздник народов» и «Праздник красоты», которые можно отнести к числу шедевров фашистского искусства (что не мешало Рифеншталь враждовать с Геббельсом, на которого Лени сумела найти управу у самого фюрера). Чаше, однако, публике предлагались псевдоисторические фильмы, весьма похожие на героико-монументальные произведения кинематографии фашистского толка в СССР, вроде «Петра Первого» В. Петрова или «Александра Невского» С. Эйзен-штейна. Основную же массу кинопродукции составляли развлекательные фильмы, которым министерство пропаганды придавало, особенно во время войны, большое значение: музыкальные, комедийные, любовно-сентиментальные, мелодраматические, почвенные на

сюжеты в стиле так называемой деревенской литературы; нацистский дух этих фильмов не давал себя знать столь назойливо. И подобно тому, как залитая солнцем река, по которой идёт белый теплоход, и радостные песни Дунаевского в исполнении Любви Орловой в фильме Григория Александрова «Волга-Волга» шли на незримом фоне Большого террора 1937–38 годов, так чарующие ландшафты Германии, песни и танцы Марики Рёкк, Ильзе Вернер и Зары Леандер, лучистый взгляд и смущённая улыбка Кристины Зедербаум в аполитичных по видимости кинобоевиках нацистского производства должны были заслонить действительность лагерей массового уничтожения, вне которой они, однако, были немыслимы.

И теперь, через много лет, эти фильмы выполняют ту же функцию, заставляя зрителей в обеих странах позабыть хотя бы ненадолго о том, что произошло.

Важнейшими каналами пропаганды оставались, однако, печать и радио. Ежеутренне в конференц-зале своего министерства Геббельс давал руководящие указания редакторам крупных газет и радиокомментаторам. Гитлер не зря сказал однажды: «Дух сопротивления уничтожен нами при помощи радио». Был выброшен лозунг: радиовещание в каждой семье! Промышленность получила государственный заказ на изготовление дешёвых радиоприёмников. (Народ прозвал их Goebbels-Schnauze, «глоткой Геббельса»). Уже к 1934 году было выпущено 6 миллионов приёмников, спустя четыре года в стране было 9 с половиной млн. радиоточек.

Картина «националсоциалистически ориентированного» живописца-лауреата Пауля Маттиаса Падуа «Говорит фюрер» даёт представление о том, чем должно было стать (и отчасти стало) домашнее радио: семья рабочего собралась вокруг ящика с затянутым материей круглым окошком для рупора. В центре сосредоточенно внимающий отец семейства. Жена, погруженная в эротический экстаз. Младшая дочурка у неё на коленях не сводит глаз с матерчатого экрана. Зачарованные лица старших детей. На стене портрет того, чей голос витает над всеми. Само собой, не упускал любого повода выступить по радио и министр пропаганды.

Два столпа пропаганды – прославление и разоблачение. Режим утверждает себя в борьбе с врагами и чахнет без врагов. К числу особо выдающихся достижений Геббельса нужно отнести знаменитую мюнхенскую выставку 1937 года «Искусство вырождения», истребление картин и сожжение книг.

Термин «искусство буржуазного вырождения», упадочное, антинародное искусство, порождённое якобы гибнущим капитализмом, широко применялся, как мы помним, и в советском искусствоведении. И там, и здесь под ним подразумевались школы и направления изобразительного искусства конца XIX и начала XX в., порвавшие с художественным натурализмом, – проще говоря, всё то, что не соответствовало канонизированному режимом идеалу красоты и мещанскому вкусу вождей. Немецкие музеи располагали богатейшими собраниями произведений парижской школы, мастеров немецкого и зарубежного экспрессионизма и т.д. Представительные образцы были свезены в «столицу движения» и город искусств Мюнхен. Экспозицию (позднее дополненную выставкой «Вырождение музыки») в только что сооружённом Доме немецкого искусства, с пояснительными щитами, фотографиями, изречениями вождя, посетил Гитлер, посетили три миллиона экскурсантов, всё это сопровождалась шумной кампанией в прессе, после чего несколько тысяч полотен были публично уничтожены в Берлине.

Там, где горят книги, будут сжигать людей. Сколько раз потом вспоминалась эта фраза Гейне. «Союз немецких студентов» учредил под покровительством Геббельса собственное Главное ведомство печати и пропаганды. Оно и взяло на себя акцию символического сожжения книг в стране, где было изобретено книгопечатание. Дело поставили на широкую ногу. Вредная литература по тщательно составленным спискам изымалась из публичных библиотек. Празднество состоялось 10 мая 1933 года во всех университетских городах в присутствии ректоров и профессоров. Автофургоны сгружали книги на площади. Хор ревел песню о Хорсте Весселе. Деятели студенческого союза выкрикивали лозунги, в Берлине священнодействовал лично доктор Геббельс. Зачитывались «Двенадцать тезисов против антинемецкого духа». Этим духом были проникнуты книги писателей-эмигрантов, евреев, фронтовиков, «оплевавших фронтовое братство», писателей левых убеждений, романы Генриха Манна, Лиона Фейхтвангера, Эриха Марии Ремарка, сочинения Маркса и Фрейда,

публицистика Тухольского и Осецкого и многое другое; они и полетели в огонь. Оскар Мария Граф, романист и поэт, баварец с головы до ног, который в это время находился в Вене, опубликовал открытое письмо властям Третьей империи под заголовком «Сожгите и меня!»

Литература была предметом особого попечения Геббельса, – в конце концов, он сам был писателем. В докладе «Умственный работник в борьбе за судьбу державы», произнесённом в актовом зале Гейдель-бергского университета в июле 1943 года (и включённом в сборник «Крутой подъём»), Геббельс рассуждает о вреде интеллектуализма – излюбленная тема нацистской публицистики, где слово «интеллигент» было бранным. До сих пор привилегией руководить нацией пользовался слой богатых и образованных. Но революция опрокидывает старые алтари и воздвигает новые. Не интеллект, а железная воля, сильный характер и руководство – вот что необходимо. «Мы все состоим на суровой службе во имя исторической задачи, и суд грядущих поколений о нас и нашей эпохе будет зависеть от того, оказались ли мы на уровне этой задачи, выполнена ли она нами в том стиле и с тем успехом, которые обеспечат нам восхищение потомков».

В читающей стране проводником нового общеобязательного мировоззрения, инструментом индоктринации становится литература. Партия придаёт литературному делу первостепенное значение. Тотальный контроль над литературой в нацистском государстве осуществлялся по хорошо известному рецепту: многоступенчатая лестница цензурно-бюрократических сит и шлюзов, с одной стороны, и поощрение преданных режиму людей на всех этажах – с другой. Но система надзора не была единой; в известной мере она отражала борьбу за первенство в кругах, близких к вождю; кроме министерства пропаганды, литературой занималась и Комиссия партийного контроля, и ведомство Розенберга – имперское управление поощрения немецкой письменности. Одно лишь перечисление всех этих канцелярий говорит о масштабах бюрократического дирижирования литературой. В то же время сложность контрольного аппарата оставляла возможность лазеек и уловок разного рода, оставляла шансы, пусть незначительные, для появления ненацистских и даже антинацистских произведений: как крайнее исключение

можно упомянуть роман Эрнста Юнгера «На мраморных скалах», вышедший в самом начале войны.

Всё же первую скрипку играло министерство Геббельса. Первым делом надо было перетряхнуть состав литературной секции Прусской академии искусств. Почти сразу после переворота писателям было предложено сообщить в президиум академии, хотят ли они оставаться «в рядах». Если да, они подписывают обязательство впредь воздерживаться от критики правительства и заявляют о готовности сотрудничать с новым режимом. Девять из 27 членов литературной секции, в том числе Томас Манн, Альфред Деблин и Якоб Вассерман, отказались поставить подпись под этой бумагой. Исключительно резко и смело ответила Рикарда Хух. Она заявила, что уходит из академии. Вслед за ней ушли или были изгнаны братья Манн, Деблин, Вассерман, Франц Верфель, Леонгард Франк, Бернгард Келлерман, Фриц фон Унру, Рене Шикеле – цвет тогдашней немецкой литературы; мы назвали далеко не всех. Существовавший в Германии Союз защиты прав писателей был прибран к рукам и в дальнейшем преобразован в филиал вышеупомянутой Палаты культуры – имперскую Палату письменности (отчасти напоминающую Союз писателей СССР). Немецким писателям вменялось в обязанность дать письменную клятву верности фюреру и его режиму. Результат всех этих мероприятий было легко предвидеть: выдвижение на руководящие посты бездарностей, оттеснение лучших, запреты, преследования и массовая эмиграция писателей – евреев и неевреев.

Геббельс оставил, если можно так выразиться, солидное творческое наследие. Кроме художественных произведений, о которых говорилось выше, кроме объёмистых, в значительной части сохранившихся и ныне полностью изданных дневников (имеется русский перевод фрагментов), его перу принадлежат сборники статей, речей, пропагандистские брошюры, антисемитские памфлеты. Всё это теперь, за исключением дневников, – раритеты.

Вершина карьеры Йозефа Геббельса как политического писателя и самое знаменитое из его выступлений – речь о тотальной войне в пятницу 18 февраля 1943 г. в берлинском Дворце спорта.

После поражения Красной Армии под Харьковом летом 1942 года немцы двинулись к Дону, одна группа наступающих войск повернула на юг, к Кавказу, другая устремилась к излучине Волги. К исходу октября передовые части вермахта овладели большей частью Сталинграда. Почти все жители города погибли (приказом Сталина эвакуация мирного населения была запрещена), вместе с ними потери обороняющихся приблизились к двум миллионам. В конце ноября VI армия генерала Фридриха Паулюса была окружена между Волгой и Доном, попытки прорвать кольцо не увенчались успехом.

Посланная в Берлин 31 января 1943 г. из подвала универмага на бывшей площади Героев революции, в центре разрушенного Сталинграда, радиограмма командования Шестой армии заканчивалась словами: «Выслушав воззвание фюрера в нашем бункере, мы единодушно вскинули руки для немецкого приветствия, быть может, в последний раз». Армия капитулировала. К этому времени от 250-тысячной рати в живых осталось 90 тысяч, вернулось из плена после войны восемь тысяч.

Был объявлен трёхдневный государственный траур. По распоряжению Геббельса газеты вышли в чёрных рамках. Радиопередачи начинались с глухого барабанного боя. Спустя короткое время шеф пропаганды возвестил о тотальной войне.

Нужно сказать, что с самого начала у Геббельса – об этом свидетельствует дневник – были серьёзные сомнения насчёт перспектив военной кампании на два (а впоследствии на три) фронта. Стремительное продвижение вермахта вглубь России как будто развеяло эту неуверенность. «Фактически мы уже победили», – записал он осенью 1941 г. В дальнейшем главной задачей министра пропаганды было убедить немецкое население, постепенно терявшее веру в победу, что у него нет другого выхода, как напрягать все силы, мобилизовать все резервы, принести любые жертвы – во имя собственного спасения. Тут говорилось и о великой миссии германского народа, и об исторической схватке с врагом человечества – мировым еврейством, которое одинаково правит Москвой, Лондоном, Вашингтоном, англо-американской плуто-кратией и русским большевизмом, и о защите Европы от азиатских орд. Идеи Геббельса не отличались новизной, но виртуозность, с которой он манипулировал ими применительно к обстановке, твердил сегодня одно, завтра

другое, препарировал действительность, препарировал историю и лгал, безоглядно, непрерывно, самозабвенно, – поистине достойна удивления. Нечего и говорить о том, что Геббельс (как и сам фюрер) никогда не ораторствовал «по бумажке». Всё же его выступления не были импровизациями. Поведение этого макабрского клоуна на трибуне, жестикация, владение голосом, риторические вопросы, рассчитанные паузы – выдают в нём профессионала высокой квалификации. Он внимательно прослушивал записи своих речей, прежде чем пускать их в эфир, вставлял дополнительные овации там, где они казались ему недостаточными, и не упускал случая похвастаться перед самим собой в дневнике своим успехом у публики. Успех, надо сказать, был немалый.

Ораторская манера министра пропаганды отличалась от стиля выступлений обожаемого вождя. Поведение Гитлера на трибуне могло навести на мысль о большом истерическом припадке. Отчасти это было в духе времени, пафос с клиническим оттенком не вызывал улыбок. Фашистские режимы отличаются каменной серьёзностью. Вот запись митинга на Королевской площади в Мюнхене, февраль 1934 года. Гул толпы. Срывающийся голос Рудольфа Гесса: «Адольф Гитлер!.. Это!.. Германия!.. А Германия!.. Это... Адольф...» Затем наступает тишина, шелестит пространство, мы слышим другой голос, сначала негромкий, потом всё выше, доходящий до визга. Во время своих больших речей обливающийся потом фюрер терял в весе несколько килограммов и сходил с пьедестала в состоянии, близком к изнеможению после полового экстаза. Гитлер, что называется, самозаводился. Геббельс, по всей видимости, был актёром с головы до ног, – что не исключало искренней, поистине беззаветной преданности режиму и харизматическому вождю. Геббельс был фантастическим лгуном, атеист – он уснащал свои речи религиозной терминологией, враг большевизма – восхищался в своём дневнике диктатурой Сталина; но, оставаясь лицедеем, он не был лицемером.

Армия на Волге зажата в клещах, транспортная авиация не справляется со снабжением окружённых войск, тысячи солдат ежедневно гибнут от холода, недоедания и артиллерийских обстрелов, но Геббельс всё ещё убеждён – так он пишет в своём дневнике, – что «благодаря фюреру и храбрости наших войск

вновь удастся справиться с кризисом. Вот почему, – продолжает он, – было бы хорошо, если бы мы воспользовались нынешней обстановкой, чтобы в широчайших масштабах осуществить тотальное ведение войны...»

«Фюрер прислал ко мне Бормана, чтобы обговорить всесторонне вопрос о тотальной войне. При всей серьёзности обсуждаемой темы для меня это – настоящий триумф: я констатирую, что все мои мысли и пожелания, которые я неустанно выдвигаю вот уже полтора года, теперь одним толчком предстоит воплотить в действительность».

В январе 1943 г. Гитлер возвестил о тотальной мобилизации всех материальных и людских ресурсов для окончательной победы. Спустя полтора года (только что произошло неудавшееся покушение Клауса Штауфенберга на Гитлера в Волчьей норе; Красная Армия подошла к границам Восточной Пруссии, вторглась в район восточнее Варшавы и бывшую Галицию; союзники высадились на французском побережье; англо-американская авиация планомерно бомбит немецкие города; американцы продвигаются вверх по итальянскому сапогу) Геббельс был официально назначен главным имперским уполномоченным по ведению тотальной войны.

«Тотализация» войны – программа, намеченная ещё классиком военной науки Карлом фон Клаузевицем и героем первой Мировой войны генералом Людендорфом, но осуществлённая лишь во время второй Мировой, сначала в СССР, а затем в Германии. Конкретно в интерпретации Геббельса тотальная война означала, в числе других мероприятий, всеобщую трудовую повинность для мужчин и женщин в тылу, мобилизацию рабочей силы из оккупированных стран, народное ополчение (фольксштурм, вооружённые отряды не подлежащих призыву гражданских лиц), летучие полевые суды для «элементов, разлагающих вооружённые силы», арест родственников солдат, сдавшихся в плен без сопротивления, отряды-«оборотни» для продолжения войны за спиной у врага, всякого рода кампании, утешительные новости и подбадривающие лозунги («победа или смерть», «крепость Европа», мнимые или действительные разногласия в лагере союзников, новое, якобы припрятанное на крайний случай чудодейственное оружие и проч.). Тотальная война означала войну, в которую вовлечены все без рабора; её жертвой становится всё население.

Грандиозный спектакль во Дворце спорта начался в пять часов вечера. В зале находилось 14 тысяч человек. Широкий проход, трибуна, флаги со свастикой, над головой оратора лозунг во всю стену в стиле новояза Оруэлла: «Тотальная война – кратчайшая война!»

Речь Геббельса продолжалась два часа. В восемь, через час после её окончания, она была передана по берлинскому радио, но так, как будто трансляция шла непосредственно из зала; в предварительном сообщении не говорилось, в каком часу начнётся выступление министра пропаганды, – вероятно, для того, чтобы союзная авиация не помешала Геббельсу (как это случилось незадолго до того с Герингом, чья речь было прервана из-за воздушной тревоги). Текст речи Геббельса о тотальной войне поступил на радио накануне, с указаниями министра, как надлежит её подать. Речь сохранилась в виде звукописи и частично – на киноплёнке. Зал неистовствовал, это была демонстрация преданности, восторга, полной потери человеческого достоинства. Успех в равной мере объяснялся специфическим подбором публики и взвинченностью оратора, который превзошёл самого себя. «Я думаю, – записал Геббельс на другой день, – Дворец спорта никогда ещё, даже в годы борьбы, не видел подобных сцен».

Речь преследовала разные цели. Прежде всего она должна была поднять настроение, упавшее после катастрофы под Сталинградом. Речь была предназначена обосновать разработанные шефом пропаганды чрезвычайные меры, – для этого, между прочим, требовалось подавить сопротивление конкурентов Геббельса в высшей партийной и государственной бюрократии, оказать давление и на самого фюрера; речь должна была укрепить позиции Геббельса. И, наконец, она очевидным образом имела целью повлиять на западных союзников: авось угроза большевизма ослабит их волю сокрушить Германию.

Под рёв зала речь была закончена патетическим возгласом: «Хотите ли вы тотальной войны?»

– Да! Да! Да!!!

Они её получили.

К концу января последнего года войны русские овладели Краковом, Лодзью, осадили Кенигсдорф, отрезали Восточную Пруссию от остальной Германии, вышли на Одер между Франкфуртом и Кюстрином. Начиная с 16 января Гитлер находился в Берлине; 31 января он назначил Геббельса начальником обороны Берлина. Это означало, что Геббельс, никогда не воевавший, не имевший военного звания, должен был стать во главе вооружённых сил, которым предстояло защищать столицу. Это значило также, – известие, с ужасом воспринятое населением четырёхмиллионного города, – что Гитлер готов сделать Берлин ареной боёв. Доктор Геббельс обзавёлся офицерской фуражкой, но форма, которую он носил, была по-прежнему формой нацистской партии (он оставался гаулейтером Берлина). Партийные бонзы, становясь военачальниками, всё же не получали военных чинов и не носили погон. В феврале здание министерства пропаганды дважды подверглось налётам с воздуха. Весь штат перебрался в бомбоубежище, частью разместился в апартаментах рейхсминистра на Герман-Геринг-штрассе.

В личном бункере Гитлера под зданием имперской канцелярии Геббельс звучным голосом читает диктатору «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, страницы, где рассказано о том, как вслед за ослепительными победами в Семилетней войне наступили тяжелейшие дни, одна весть хуже другой приходит к королю, теснимому со всех сторон вражеской коалицией. В последний момент провидение спасает великого короля, неожиданно умирает в Санкт-Петербурге императрица Елизавета Петровна, главный враг Пруссии. Новый царь Пётр III протягивает Фридриху руку мира.

Находящийся в ведении Гимmlера особый «исследовательский отдел» получил задание составить гороскопы вождя и рейха. По-трясающий результат: оба гороскопа указывают на победу во второй половине апреля, после серии тяжелых неудач. Под вечер 13 апреля Геббельс прибывает в Кюстрин, городок у впадения Варты в Одер, разбитый снарядами; там находится штаб IX армии. Огненная речь перед штабными офицерами. Геббельс ссылается на исторический прецедент – внезапный поворот Семилетней войны в 1762 году. Кто-то из слушателей осторожно спросил, какая царица может сейчас умереть в Москве, чтобы счастье повернулось лицом к немецкому отечеству. Геббельс не нашёлся что ответить, но в тот же вечер приходит ошеломительное известие. Геббельс, вернувшийся в Берлин, на который вновь сыплются бомбы

– большой налёт английской авиации, – приказывает подать шампанское и приглашает Гитлера в кабинет, где накрыт стол. «Мой фюрер! Произошло чудо. Бог не оставил нас. Судьба сокрушила нашего опаснейшего врага. Умер Рузвельт!»

Последняя большая речь доктора Геббельса по радио была произнесена 19 апреля, накануне дня рождения Гитлера. «В минуту войны, в момент, когда, быть может, – хотелось бы верить, – в последний раз силы ненависти и разрушения сошлись на наших фронтах с запада, востока, юго-востока и юга, чтобы прорвать их и поразить империю смертельным ударом в сердце, я выступаю, как всегда это делал начиная с 1933 года, в канун 20 апреля перед народом, чтобы говорить с ним о фюрере...»

Фюрер к этому времени окончательно заперся в подземелье. Огромное сооружение, находившееся, как уже сказано, под зданием рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе в центре Берлина, по соседству с Тиргартеном и Бранденбургскими воротами, представляло собой комплекс официальных, жилых и служебных помещений: два конференц-зала, гостиная, кабинет и спальня Гитлера, спальня Евы Браун, врачебный кабинет и комнаты для двух лейб-врачей, пункт неотложной помощи и экстренной телефонной связи, секретариат, комната дежурного, помещение для охраны СС, силовая станция и пр. Через узкую трёхмаршевую лестницу можно было незаметно выбраться из убежища в сад канцелярии.

Превосходно предполагалось, что фюрер оставит бункер и осаждённый город, чтобы укрыться на юге, в Зальцбургских Альпах, и продолжать борьбу из «Альпийской крепости». Геббельс убеждал его оставаться в Берлине, если надо – погибнуть, защищая столицу. Гитлеру исполнилось 56 лет. В бункере собралось руководство Тысячелетнего рейха: Геринг, Геббельс, Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп и высшие чины вермахта. Явилась и Ева Браун. Поздравления, ответное слово именинника, в саду канцелярии фюрер обошёл строй подростков, бойцов отряда гитлеровской молодёжи. Это последние, хорошо известные кадры киноплёнки, запечатлевшие Гитлера, измождённого, с трясущимися руками. После обеда Гиммлер, Риббентроп и почти все военачальники покинули бункер. Их ожидала колонна грузовиков.

Незаметно исчез Борман. Распрощался с вождём и рейхсмаршал Геринг: его ждали «неотложные задачи на юге». Геббельс остался.

Геббельс, его жена Магда и шестеро детей выехали в двух машинах из городской квартиры в пять часов пополудни 22 апреля. Рейхсминистр пропаганды, главный уполномоченный по ведению тотальной войны и начальник обороны Берлина переселился с семьёй к Гитлеру, в его убежище. С отъездом Геббельса персонал министерства разбежался. Весь правительственный квартал представлял собой нагромождение руин. В этот день Гитлер собрал свой штаб – тех, кто ещё остался, – для «обсуждения обстановки». Обсуждение было прервано взрывом дикого гнева. Вождь, с вылезшими из орбит глазами, сотрясаясь всем телом, буйствовал три часа, он обвинял коварного врага, изменников-подчинённых и не достойный своего фюрера немецкий народ. Все тупо ждали, когда кончится припадок. Внезапно Гитлер умолк. Затем он командировал Кейтеля на Эльбу, где XII армия генерала Венка шла на помощь Берлину. Она никогда не пришла. Четыре дня спустя снаряды советской артиллерии уже рвались в саду имперской канцелярии.

Последние дни обитателей подземелья описаны много раз. 29 апреля Геббельс был официальным свидетелем на бракосочетании Гитлера и Евы Браун. Гитлер продиктовал своё политическое завещание («Прежде всего, как самое важное, я обязываю руководство нации и подчинённых неукоснительно соблюдать расовые законы и продолжать неуклонное сопротивление мировому отравителю всех народов – международному жидовству») и назначил Геббельса своим преемником. На другой день фюрер и Ева покончили с собой. На одни сутки Йозеф Геббельс стал главой более не существующего государства. Вечером 1 мая 1945 года, между половиной девятого и девятью, Геббельс подписал приказ взорвать бункер. Магда Геббельс приготовила ампулы с цианистым калием для всей семьи. На рассвете русское подразделение ворвалось в сад. С автоматами в руках обследовали развалины бомбоубежища. Затем поднялись наверх и только тогда увидели обгорелые трупы министра пропаганды, его жены и детей.

Десять праведников в Содоме

История одного заговора

Игра в рулетку

Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуровывая в основание столба, подпирающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 года, в годовщину неудавшегося путча 1923 г., в десятом часу вечера, когда в переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых борцов». Было известно, что вождь говорит как минимум полтора часов. К полуночи он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Адъютант связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому поезду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать на полчаса раньше. В восемь часов грянул Баденвейлерский марш, загремели сапоги, в зал с помпой было внесено «кровавое знамя». Гитлер взошёл на трибуну – и успел покинуть пивную за восемь минут до взрыва.

Если бы не счастливая – следовало бы сказать: несчастливая – случайность, вместе с обвалившимся потолком, с разнесённой в щепы трибуной взрыв, уничтожив оратора, угробил бы и его режим. Только что начатая война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было бы Восточного блока, холодной войны и так далее.

Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была бы иной. Можно нанизывать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевёл стрелку не в ту сторону, и поезд свернул на другой путь. Что такое случай? То, чего по всем статьям не должно было случиться. И что тем не менее случилось. Что было бы, если бы

20 июля 1944 года в Волчьей норе, ставке фюрера в Восточной Пруссии, судьба не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того, чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города, вся послевоенная история выглядела бы немного иначе.

Сопротивление

О партии Гитлера нельзя было сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 года она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и всё же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социалдемократов, шесть миллионов за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять миллионов за коммунистов. То, что национал-социализм и в первые месяцы, и в последующие 12 лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоёв населения, у него оставалось немало противников. И всё же это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что значит перечить этому государству. Два фактора – между которыми, впрочем, трудно провести границу – обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.

Заговор 20 июля, которому теперь уже более полустолетия, не был единственной попыткой радикально изменить положение вещей. Он был не единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс Фаллада раскопал в архиве гестапо дело берлинского рабочего Отто Квангеля и его жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны; случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О мюнхенской

студенческой группе «Белая роза», о расправе с её участниками стало известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других – опять-таки в самых разных слоях населения – узнали лишь в самое последнее время.

При всём том, однако, Двадцатое июля не имело себе равных по масштабам подготовки и разветвлённости. В заговоре участвовали люди разного состояния, мировоззрения, происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; консерваторы, националисты, либералы, социалдемократы; выходцы из среднего класса и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение национал-социализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя – случай неслыханный в государстве и обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждёт в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Германия вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко ещё не сломлена. Заговорщики знали, что они будут заклеены как изменники родины. Но, как сказал Клаус Штауфенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».

Не убий

Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и начала Второй мировой войны оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли только военные. Это означало нарушить присягу; не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата – защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?

Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно – или становилось всё ясней, – что до тех пор, пока фюрер жив или по крайней мере не обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же,

вдобавок почти неизбежно сопряжённое с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени он проводил не в Берлине, а в надёжно защищённых убежищах, вдали и от уязвимого для авиации тыла, и от фронта. Пробраться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашёлся.

Пока лишь генералы

К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществлённых проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 году, с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных записках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера) через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже предупреждал, что если война будет начата, высший генералитет в полном составе подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает, как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич предпочёл скрыть от фюрера эту часть письма. Бек ничего не добился, кроме того, что был снят со своего поста; позже мы встретим его имя среди главных участников заговора.

Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он разработал детальный план путча.

Осенью 1938 г. ещё не все были согласны с предложением командующего третьим берлинским военным округом генерала, впоследствии генерал-фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры контразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения столицы; вместе с чинами своего штаба, под защитой офицерского отряда во главе с Гейнцем, Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии и, минуя Мраморный зал, через

коридор проникает в комнату Гитлера. Арест вождя, после чего инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчинённые организуют вооружённый инцидент, во время которого Гитлер будет убит.

План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г.; война казалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году. Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранился подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу и армии, состав нового правительства, список нацистских руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.

Крейсау

В 1867 году Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кёниггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля дотацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка Швейдниц в Нижней Силезии (ныне – территория Польши). В старинном, много раз перестроенном четырёхэтажном доме, который всё ещё по старой памяти называли замком, родился в 1907 году племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.

Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачёсанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе; внук перенял от него профессию юриста. Он получил юридическое образование в Оксфорде и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине. Во время войны Мольтке служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном

командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления полевым трибуналом СС весной 1945 г. в концлагере Флоссенбюрг).

Рейх начал Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой; в дальнейшем Фрейя фон Мольтке перепечатывала все документы и умудрилась их сохранить. Примерно с 1940 года в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом, положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало 10-12 человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодорожной станции. Впоследствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около 40 человек, обозначались как Крейсауский кружок. С этим названием они вошли в историю.

Куда деть фюрера?

Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также посольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в прошлом состоял в социалдемократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социалдемократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления – Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со Штауфенбергом, будущей центральной фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника берлинской полиции Фриц-Дитлоф

граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб во время воздушного налёта в Лейпциге. В советском лагере для интернированных через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил в кружок, но стал одним из его главных действующих лиц. Участниками дискуссий в Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Аугустин Реш. Петер граф Йорк фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова в войне с Наполеоном), нами уже назван.

Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 г., может дать представление о характере предначертаний Крейсауского кружка:

«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах жизни. Гарантируются свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берётся под защиту государства и общества вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности».

Можно ли претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим строем? Свергнуть же этот строй невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке, в отличие от большинства членов кружка, был против покушений на Гитлера. Мольтке считал, что после поражения — а оно представлялось неизбежным — убийство Гитлера и

генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спину», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла Первую мировую войну.

До Урала и дальше

Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоставили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть, «новому порядку» – так именовался на жаргоне пропаганды режим порабощённого Гитлером континента. Но аппетит, разгоревшийся после первых побед, не довольствовался Европой, проекты вождя, которые правильней было бы назвать горячечными грёзами, становились всё грандиозней и теперь уже простирались далеко за её пределы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по свету Британская империя окажется под владычеством Германии. Мир будет состоять из трёх регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за океанами – в руках Германии. Россия как самостоятельное государство не существует. Индия и Урал – граница сфер влияния Германии и Японии. Предусматриваются гигантские работы по отстраиванию столицы мира – нового Берлина – согласно проектам лейб-архитектора Шпеера. Восемьдесят четыре тысячи тонн металла должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице движения» Мюнхене, городе партийных съездов Нюрнберге, австрийском Линце, где вырос фюрер, и ещё в 27 городах; всё это, не дожидаясь конца войны. В 1950 году будет одержана окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для оккупированных стран.

Любопытно сравнить эту дикуую футурологию с прогнозами немецкой прессы после 1945 года, когда все или почти все более или менее крупные города Германии лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен (если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится, Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.

Вернёмся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага – Франции, которая ещё совсем недавно считалась сильнейшим государством западного мира, триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое положение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь выгоды. Почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих дорог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании непросто; вступление в войну Соединённых Штатов Америки, с их неисчерпаемыми ресурсами, сделает победу вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями, которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 года.

Берлин

Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в Берлине. Карл Фридрих Герделер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884 г. в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань–Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традициях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности, почитания памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской республики был вторым бургомистром Кенигсберга, затем обербургомистром Лейпцига, где его застала националсоциалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется «гонорациор» (престижный общественный деятель), – отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.

Летом 1936 г., когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по

четырёхлетнему плану», назначил экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в изумление: следовать им значило круто повернуть внутривнутриполитический курс. В это время Герделер ещё предполагал у властителей здравый смысл и честные намерения. Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.

К концу сорок первого года – война уже пылала вовсю, армейская группа «Центр» приблизилась к Москве, в ходе сражений под Киевом, Брянском и Вязмой в плену оказался 1 миллион 300 тысяч советских солдат, японский коронный совет принял решение начать военные действия против Америки, Великобритании и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор, после начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного главнокомандующего и назначил верховным себя – к концу года мы находим Карла Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского заговора. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него сплотилась кучка единомышленников, среди них были отставной генерал Людвиг Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель, прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с представителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университетских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о котором пойдёт речь особо.

Два сценария

Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старика» – не только в прямом смысле. Между господами из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский – либеральным, отчасти социалдемократическим и прозападным. Герделер не был приверженцем демократии – во всяком случае, в той её форме, которая в наши дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сбросившей нацизм

Германии предстояло вернуться к традициям империи Бисмарка. Её границы должны были соответствовать границам накануне Первой мировой войны, территориальные потери, нанесённые Версальским договором, – тут их превосходительства сходились с Гитлером – надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лотарингию, «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической карты. Аннексированная в 1938 г. Австрия и населённый немцами Итальянский Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев – любопытная деталь – предлагался сионистский рецепт: «свое государство». (Преступления против евреев в большой мере определили оппозиционность Герделера – подобно тому, как они побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса, да и многих других сделать решающий выбор между конформизмом и сопротивлением).

Таким образом, Германии предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 г. был составлен список членов будущего правительства; Бек должен был стать главой государства, Герделер – председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции послевоенной Германии, по которому исполнительной власти – канцлеру и совету министров – предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.

Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым, при всём их преклонении перед британской демократией, не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о будущей свободной и децентрализованной Германии – равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей Европы (но без России и Англии) валютой и общими вооружёнными силами, были, конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других. Зато одним из общих пунктов было «ордо-либерализм», под которым подразумевали частнокапиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны

некоторые идеи «ордо-либерализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.

1942 год

Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 г. с назначением взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, первым офицером (I-а) генштаба был родственник Бока, 40-летний подполковник Геннинг фон Треско. Прусский дворянин Треско был выходцем из военной семьи и женился на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал национал-социализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 г., день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму убийц, а с началом войны сюда добавилось отчётливое понимание того, что не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооружённых сил стоит дилетант; «величайший стратег всех времён и народов» – всего лишь бывший унтер. Правда, на Восточном фронте ему противостоял другой дилетант, вообще никогда не воевавший, не имеющий военных знаний и лишённый каких-либо следов полководческого таланта.

Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца «серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам быстро выдвинулся, слыл способным офицером. С другой стороны – каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосредственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы сорок первого года Треско удалось сколотить в штабе группу противников режима; адъютант и надёжный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командирован с тайной миссией в Берлин - разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.

Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Валгаллу девы-валькирии. План «Валькирия» разработал генерал от инфантерии Фридрих Ольбрихт. Главными очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфурте-на-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом следующего, 1942 года Треско поручил своему подчинённому, штабному офицеру I-с Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом – приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадывался, с какой целью; официально считалось – для борьбы с партизанами.

Опять повезло

В последний день января и в начале марта 1943 года капитулировали южная и северная группа окружённых под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали 21 немецкая и две румынские дивизии. 150 тысяч немецких солдат были убиты, 91 тысяча во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала, сдалась в плен (из них вернулось домой после войны лишь около 6 тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин, патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил тотальную войну. Германия всё ещё контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики; в тылу у воюющей армии находились западные и южные области Европейской России, Украина, Крым, Северный Кавказ, на Эльбрусе развевался флаг со свастикой. Но вера в победу, вера подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.

В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, преемник Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско. После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед в офицерском казино.

Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолёт пакет с двумя бутылками коньяка в подарок одному офицеру в ставке верховного главнокомандующего. К самолёту фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом: в бутылках, снабжённых английским детонационным устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.

Короткие провода, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что фюрер благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды, произошла путаница, сказал он, пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.

Новые попытки

В «День памяти героев» фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было через восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта 1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта, упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время – 10 минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождём.

В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова

ничего не получилось. Гитлер спешил и, обежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.

Можно кратко упомянуть о других попытках. 24-летний, увешанный боевыми наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, между прочим, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше приготовился к новому покушению – вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Берггоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу; заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.

Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в духе Ницше. Что бы ни случилось – нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV», предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско:

«Гитлера надо попытаться убить *coûte que coûte* (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».

Армия и режим

Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.

Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полководца Гнейзенау. Отец – шталмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных фигур Крейсауского кружка.

Восемнадцать лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько позже, в числе многообещающих молодых офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.

Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, тридцатилетний темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и ницшеанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.

Граф Штауфенберг мог презирать, с высоты своего офицерского достоинства, вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог брезгливо остраниваться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года, – как и то, что за ним последовало, – у Штауфенберга не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной

молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабальным, – весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать – в той или иной мере – сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего; в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 г. была выдвинута программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая – средневековая Священная Римская империя, вторая – империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность, – к 1939 г. вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно возрасти должен был и командный состав, для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на сей раз победоносной кампании, – сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих – одних раньше, других позже.

Рубикон

Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском заговоре. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!».

Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-а.

Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в кромешной тьме был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко, по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать».

Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около 200 тыс. человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик в открытом поле близ Мещуны, в пятидесяти километрах от побережья. Этот был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.

Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы поблэкнут перед ним...». Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.

Зарницы

На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944 года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-штрассе, нечто сходное с московской

Лубянской. Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтку, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля, однако, всё изменилось.

Тучи сгустились и над Карлом Герделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным. Гёрделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и ещё некоторое время спустя.

Доложите обстановку

Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим.

На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Аппенинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии – открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуге, не обладавший военным гением Роммеля.

Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; 38 дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.

Еженочно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, еженочно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин, города Рурского угольного, железнорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налёты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.

Волчья нора (1)

Задача - убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Гёринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адъютант приготовил машину и самолёт, с тем чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург – знакомые нам лица – ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочёл отложить покушение.

Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг – густые хвойные и лиственные леса, камышёвые озёра, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штаб-квартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиной в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным, шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В

углу справа от входа – круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлер-штрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак – но не внутри – стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь; но до половины третьего, когда всё закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке 15 «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое – Кейтель, Фромм и Штауфенберг – вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.

Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.

Новый Сулла

Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть, значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, находился с начала Второй мировой войны на западном

фронте, участвовал в походе на Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла-Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой аванюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».

Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.

Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.

Некоторые из них, например, Герделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего согласия, требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.

Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантурой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного

закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло их величие.

Молчание

Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются преступными организациями, - сравнительно поздно пришло даже к тем, что честно стремился разобраться в происходящем. Тем не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живёт. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июля не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где националсоциализм был разбит стальной кувалдой войны, а позднейшие годы стали временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов не произошло, и до сих пор, по-видимому, значительная часть народа не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти к более активным действиям. Эти мальчики и девочки

исчезли бесследно, система тотальной слежки и всенародного доноительства не пощадила ни одного. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание взрослых.

Волчья нора (2)

Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолёт, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофёром.

На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.

Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен возвратиться на аэродром.

Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фелльгибель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фелльгибель был тоже посвящён в заговор). Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант возятся с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался

в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.

Совещание

«Иду, иду...» – сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки, с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошёл в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, – проговорил Штауфенберг, – позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...».

На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.

Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, – и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг – справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.

Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно позвонить по телефону. Хождение во время доклада не возбранялось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в

соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.

У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтенем. Штауфенберг сёл впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», – сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.

Обратный путь

Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели своё действие, машину пропустили.

У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озёрами, но шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.

Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, миновав третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 мин. трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.

Мятеж

В начале второго – самолёт в Растенбурге только что стартовал – в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлер-штрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы – телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:

«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».

Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия». Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтенем приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Адъютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.

Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учебных и резервных частей получили следующую депешу:

«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!

Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.

Приказываю:

Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях... (далее перечислялись имена командующих армейскими группами «Запад», «Юго-Запад» и «Юго-Восток», а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.

Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал фон Вицлебен».

Никакого «правительства» восставших пока ещё не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и

телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные заместители, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, сам Фромм о нём не знал.

Он прибыл

Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.

В половине четвёртого в здании на Бендлер-штрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец, появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета – там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек – и с порога, не здороваясь:

«Он умер. Я видел, как его вынесли».

В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.

«Фельдмаршал Кейтель лжёт, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мёртвым», – сказал Штауфенберг.

Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».

«Господин генерал-полковник, – возразил Штауфенберг, – я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от 15-сантиметровой гранаты. В комнате никого не могло остаться в живых!»

«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», – сказал Фромм.

«Я этого не сделаю».

Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.

«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»

Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берёт на себя руководство Германией.

«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»

«Ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».

Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами пистолетов генерал был препровождён в соседнее помещение. Его пост должен был занять генерал-полковник Эрих Гепнер, уволенный в своё время из вооружённых сил за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.

Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства, – о Беке говорилось в начале этой статьи, – явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):

«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадежно. Долг всех мужчин, всех, кто любит эту страну, – из последних сил добиться нашей цели. Не получится, – ну что ж, мы, по крайней мере, не будем мучиться сознанием нашей вины. Для меня этот человек всё равно мёртв. Доказательства, что он не убит, не подменён двойником, могут придти из ставки только через несколько часов. До этого мы успеем взять в свои руки власть в Берлине».

Фанера, стекловата

Что произошло в Волчьей норе?

Массивный стол был расщеплён и обрушился, стулья поломаны, на месте, где стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стёкла всех пяти окон вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в бараке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили лёгкие ранения, вполне невредимым остался только шеф верховного командования Кейтель. Среди хлопьев полуобгорелой бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтёк, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал... Кругом измена!»

Спрашивается, почему он уцелел. Несколько обстоятельств могут это объяснить. Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Во-вторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы. В-третьих, и это главное, стены барака были из слишком лёгкого материала, что ослабило взрывную волну; если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел бы никто.

Только спустя два часа подозрение пало на однорукого полковника. Вахмистр Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофёр, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой важности его показания шофёр был препровождён к «секретарю фюрера» и начальнику партийной канцелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идёт не об одиночном покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвлённом заговоре.

Судороги мятежа

К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оцепил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на Герман-Геринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону поднял по тревоге лейбштандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить правительство от мятежников.

Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебена представлял граф Шверин. Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при орденах, с фельдмаршальским жезлом. Реальными

действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов – прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.

Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять все пункты связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы из главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»

В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего руководители парижских СС и СД, а также чины гестапо в полном составе были арестованы; вооружённые отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был вызван к фельдмаршалу Клуге, который сообщил, что, по только что полученным сведениям, покушение на фюрера не увенчалось успехом.

На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперёд, после чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в живых, но ослеп.

Полночь

Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей путча: Бека, Ольбрихта, Гепнера, Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с адъютантом Гефтенем. Вицлебен успел покинуть здание.

Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь на Штауфенберга, выстрелил ещё раз, но всё ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог прийти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что берёт всю ответственность на себя:

остальные лишь выполняли его приказы. Фромм велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вывели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.

Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!». Хефтен бросился к нему, был сражён залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек, смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли Квирнгейма.

Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнёс речь перед солдатами, трижды рывкнул: «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.

Эпилог

Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил по радио. «Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» – записал в своём дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться, что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная глава историографии нашего века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.

Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и ещё несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер, впоследствии один из основателей партии Христианско-демократический союз. Был казнён заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве; арестован и расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.

В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством небезызвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны этот Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбёжки.

В Пленцее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа

1944 г. первые восемь осуждённых, в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельп, Гассель, Попиц и другие.

Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вёл под руку к виселице.

Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения.

Герделера разыскали и казнили весной следующего года.

Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбюрг в Баварии. Там же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгеффер.

Шлабрендорф был подвергнут пыткам, но остался жив.

Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочёл принять яд.

Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, был в свою очередь расстрелян в марте 1945 г.

Всего из 600-700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертер-штрассе в ночь на 24 апреля 1945 года, за две недели до конца войны.

Вейнингер и двойник

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся
слишком много узнать обо мне».

1. Инцидент

Полиция обнаружила в доме № 5 на улице Чёрных испанцев, в комнате, где умер Бетховен, прилично одетого молодого человека с огнестрельной раной в области сердца. Он скончался на пути в больницу. Самоубийцей оказался доктор философии Венского университета Отто Вейнингер, евангелического вероисповедания, двадцати трёх с половиной лет. Вейнингер жил с родителями, респектабельной четой среднего достатка, с сёстрами и братом. Он оставил два завещания. Одно из них было написано в феврале 1903 года, за восемь месяцев до смерти, другое – в августе, на вилле Сан-Джованни в Калабрии. В завещаниях содержались распоряжения об урегулировании мелких денежных дел; друзьям Артуру Герберу и Морицу Раппапорту он оставил на память маленькую домашнюю библиотеку и две сабли. Кроме того, просил разослать некоторым известным людям – Кнуту Гамсуну, Якобу Вассерману, Максиму Горькому – экземпляры своего трактата «Пол и характер». В бумагах умершего нашлась загадочная запись, сделанная перед смертью: «Я убиваю себя, чтобы не убить другого».

2. Кем он был

Жизнеописание Отто Вейнингера можно уместить на одной страничке: родился в Вене в апреле 1880 года, проявил раннюю умственную зрелость, необычную даже для еврейского подростка. В университете изучал естественные науки, затем переключился на философию и психологию, слушал курсы математики, физики, медицины. В двадцать лет это был эрудит, прочитавший всё на свете, серьёзно интересующийся музыкой, владеющий древними и новыми языками. О своих способностях он был высокого мнения и однажды записал: «Мне кажется, мои духовные силы таковы, что я мог бы в

известном смысле решить все проблемы». Оставалось свести все знания и прозрения в единую всеобъясняющую систему, решить загадку мира и человека. Что он и сделал.

По совету профессора Йодля, своего университетского руководителя (который, правда, советовал убрать «некоторые экстравагантные и шокирующие пассажи», а в частном письме признавался, что автор при всей своей гениальности антипатичен ему как личность), Вейнингер углубил и расширил свою докторскую диссертацию. Шестисотстраничный труд под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование», с предисловием автора и обширными комментариями, был выпущен издательством Браумюллер в Вене и Лейпциге весной 1903 года.

В день защиты диссертации Вейнингер принял крещение. Переход евреев в христианство был довольно обычным делом в католической Австрии, но Вейнингер крестился по лютеранскому обряду, что во всяком случае говорит о том, что он сделал это не ради карьеры, выгодной женитьбы и т.п.. Летом 1903 г. он совершил поездку в Италию, в конце сентября вернулся в Вену, и, проведя пять дней у родителей, снял на одну ночь комнату в доме Бетховена. На рассвете он застрелился.

3. Человек. Его привычки

Две сохранившиеся фотографии Вейнингера — два разных человека, хотя их разделяет всего несколько лет. Зная о том, что случилось с Вейнингером, легко поддаться искушению прочесть в этих портретах его судьбу. Смерть в ранней молодости бросает тень на прижизненные изображения, смерть вообще меняет фотографии человека, об этом знала Анна Ахматова.

Первый снимок: где-то в парке на скамье сидит юноша, почти подросток, темноглазый и темноволосый, с большими ушами, в сюртучке, в высоких воротничках и белом галстуке, и смотрит вдаль; немного похож на Кафку.

На второй фотографии (поясной портрет, сделанный в ателье, вероятно, в последний год жизни) Вейнингер выглядит старше своих лет. Узкоплечий, одет более или менее по моде: белый стоячий воротник с отгнутыми уголками, сюртук, жилет, видна цепочка от часов; широкий галстук повязан несколько криво. Он в очках, некрасивый, как молодой Ницше; короткая стрижка,

жидковатые усы. Вейнингер как будто вот-вот усмехнётся, поймав на ошибке невидимого оппонента; взгляд человека настырного и несчастного.

Сохранились и кое-какие воспоминания. Стефан Цвейг учился в университете в одно время с Вейнингером. «У него всегда был такой вид, словно он только что сошёл с поезда после тридцатичасовой езды: грязный, усталый, помятый; вечно ходил с отрешённым видом, какой-то кривой походкой, точно держался за невидимую стенку, и так же кривились его губы под жидкими усиками...»

Похожее описание внешности покойного друга студенческих лет сделал Артур Гербер, человек ничем не знаменитый. Отто был худ, неловок, небрежно одет, в движениях было что-то судорожное; ходил, опустив голову, неожиданно срывался и нёсся вперёд. «Никогда я не видел его смеющимся, улыбался он редко». Вечерами, во время совместных прогулок по тусклым улицам, Вейнингер преображался. «Он как будто становился выше ростом, – пишет Гербер, – увлечённый разговором, фехтовал зонтом или тростью, как будто сражался с призраком, и был в эту минуту похож на персонаж Гофмана».

Круг знакомств юного Вейнингера был, по-видимому, крайне узок. Нет никаких сведений о его взаимоотношениях с женщинами, никаких следов невесты, подруги. Похоже, что он никогда не пережил страстной любви. Если же и случалось что-нибудь подобное, то это были, надо думать, неудачи.

4. Его фантазии

После Первой мировой войны Артур Гербер опубликовал заметки и письма Вейнингера – книжка, ставшая раритетом. Во вступительной статье рассказано несколько мелких эпизодов из жизни Вейнингера. Дождливый день, поздней осенью 1902 г., друзья едут в трамвае в Герстхоф, весьма отдалённый по тем временам городской район. На Вейнингере зимнее пальто, но он мёрзнет. «Я чувствую холод гроба». Входят в комнату, спёртый воздух. «Пахнет трупом – тебе не кажется?...» Вейнингеру остаётся жить меньше года, Гербер пишет о нём спустя два десятилетия, густая тень будущего лежит на его воспоминаниях. Другой рассказ. Приятели шатаются вечером вокруг какой-то церкви, потом Отто провожает друга домой. Потом Артур провожает Отто. Поздно ночью, наконец, прощаются, на улице ни души, Вейнингер вглядывается в глаза другу и – шопотом:

«Тебе не приходила в голову мысль о двойнике? Вдруг он сейчас появится, а?... Двойник - это тот, кто всё знает о человеке. Даже то, о чём никто не рассказывает».

Гербер не знает что ответить. Вейнингер поворачивается и уходит.

5. Книга

Надо же, выбрал место: дом, где угас Бетховен. Любил ли он Бетховена? «Истинно великий музыкант, — говорится в книге Вейнингера, в главе «Дарование и гениальность», — может быть таким же универсалом, как поэт или философ, может на своём языке точно так же измерить весь внутренний мир человека и мир вокруг него; таков гений Бетховена». Всё же Вейнингер, вероятно, предпочёл бы, если б мог, свести счёты с жизнью не в родном городе, который он не любил, а в Венеции, во дворце Вендрамин-Калерджи, где скончался Вагнер, «величайший человек после Христа».

Мориц Раппапорт, другой сверстник и друг, привёл в порядок его рукописи и опубликовал их (в 1904 году) под общим названием «О последних вещах». Это выражение — «последние вещи» (*die letzten Dinge, ultimae res*) — отсылает к христианской эсхатологии, учению о конце света, о смерти и воскресении из мёртвых. Позднее, как уже сказано, Гербер подготовил к печати немногочисленные письма и расшифровал стенографические заметки из записной книжки Отто. Всё это могло привлечь внимание лишь на фоне оглушительной славы, которой удостоились «Пол и характер» сразу после их появления. Вейнингер успел услышать первые трубные звуки этой славы; да он и не сомневался в том, что будет признан великим философом и психологом, первооткрывателем последних тайн человеческой натуры.

Книга давно уже не переиздаётся. Две-три строчки в энциклопедических словарях — вот, собственно, всё что осталось от Вейнингера. Книга, написанная сто лет назад, стала нечитаемой, забыта или почти забыта, но невозможно забыть её автора — «случай», который не раз был предметом социально-психологических и психоаналитических толкований; чем больше его разгадывали, тем он казался загадочней. В короткой жизни Вейнингера самоубийство поставило не точку, а многоточие. Книга Вейнингера заслонена им самим. Утратив — или почти утратив — самостоятельное философское и тем более научное значение, она осталась в равной мере документом его эпохи и

его личности, она стала знаком судьбы. Перечитывая книгу, понимаешь, что тот, кто её написал, не мог не истребить себя.

6. Почитатели

Сто лет прошло, и наступил новый *fin de siècle*; невыносимой тяжестью висит у нас на плечах ушедший век. Что-то похожее на этот груз, должно быть, ощущали на себе европейцы, провожая девятнадцатое столетие. Не потому ли тянет вспоминать о некоторых современниках той поры, что они, как и мы, смутно чувствовали вместе с концом века близость какого-то другого финала? Можно сказать, что имя Отто Вейнингера переживает ныне род чахлого, осторожного возрождения. Пожалуй, это скверный симптом. О Вейнингере написан роман, лет десять тому назад в Вене была поставлена пьеса под названием «Ночь Вейнингера». Мрачная история – и лучше всего было бы сдать окончательно дело Вейнингера в архив. Но не получается.

Два или три десятилетия, прежде чем сочинение Вейнингера перекочевало в библиотечные фонды редко востребуемых книг (а в Советском Союзе – в спецхран), оно успешно конкурировало с самыми модными новинками. За первые десять лет книга, что совсем необычно для учёного труда, была переиздана 12 раз. К началу тридцатых годов она выдержала около тридцати изданий. Книга была переведена на все языки, включая русский (два издания). Это был одновременно и рыночный бестселлер, скандальный до неприличия, и серьёзный труд, с которым полемизировали, которым восторгались, чьему влиянию поддались прославленные умы. Под двусмысленным обаянием Вейнингера чуть ли не всю жизнь находился Людвиг Витгенштейн. О Вейнингере уважительно писали Николай Бердяев в книге «Смысл творчества» (что, возможно, следует сопоставить с его позднейшими профашистскими симпатиями) и – чему тоже не приходится удивляться – Василий Розанов («Опавшие листья», короб I). Роберт Музиль испытывал к Вейнингеру отчуждённый интерес – как и к психоанализу Фрейда. Автор «Пола и характера» стал чуть ли не главной фигурой в нашумевшей книге Теодора Лессинга «Ненависть евреев к себе» (1930); самый термин *Selbsthaß* был, по-видимому, заимствован у Вейнингера. Мы не будем здесь говорить о попытках оживить интерес к Вейнингеру в нацистской Германии (некий доктор Центграф выпустил в Берлине в 1943 г. брошюру

«Жид философствует»). Но женоненавистничество Вейнингера вызвало, например, живое и понятное сочувствие у Августа Стриндберга. «Станный, загадочный человек этот Вейнингер! – восклицает Стриндберг. – Уже родился виноватым – как и я...» Великий швед нашёл в этом мальчике родственную душу.

7. Наука и ещё что-то

Через два года после появления книги «Пол и характер» Старлинг ввёл в биохимию человека понятие о гормонах – веществах с мощным физиологическим действием, выделяемых железами внутренней секреции. В 1927 г. было показано, что гормоны передней доли гипофиза регулируют деятельность половых желёз; в 20-х и 30-х годах химически идентифицированы мужские и женские половые гормоны, ответственные за внешний облик и сексуальное поведение индивидуума. Об этих открытиях здесь стоит упомянуть, так как некоторые идеи Вейнингера их отчасти предвосхитили.

Книга «Пол и характер» (*Geschlecht und Charakter*) стала библиографической редкостью, и нам придётся кратко пересказать её содержание или, лучше сказать, её главные тезисы. Книга состоит из двух частей. Первая, медико-биологическая часть именуется подготовительной и озаглавлена «Сексуальное многообразие».

Разница между мужчиной и женщиной не ограничена первичными и вторичными половыми признаками, но простирается на все клетки и ткани организма. Можно говорить о двух биологических началах, мужском (М) и женском (Ж). При этом оба начала сосуществуют в каждом индивидууме; нет ни стопроцентных мужчин, ни абсолютных женщин. Другими словами, у каждого мужчины и каждой женщины имеет место та или иная степень недостаточности определяющего начала; решает дело лишь преобладание М над Ж или наоборот.

В этом смысле каждый человек бисексуален. Тезис Вейнингера согласуется с позднейшими данными эндокринологии: в организме мужчины вырабатываются вместе с мужскими половыми гормонами женские, и наоборот, в женском организме можно обнаружить присутствие мужских гормонов.

Далее формулируется (и выводится с помощью математических выкладок) «закон полового влечения»: оно тем сильнее, чем полней недостаточный мужской компонент мужчины компенсируется добавлением мужского компонента женщины и недостающий женский компонент у женщины – женским компонентом мужчины. Слабый мужик тянется к сильной бабе, сильного мужчину привлекает слабая женщина. Когда же обе чаши весов, М и Ж, приближаются к равновесию, мы получаем интерсексуальный тип – мужеподобную женщину, женственного мужчину. Промежуточный тип играет заметную роль в некоторых общественных движениях, например, в феминизме – борьбе за женское равноправие, бессмысленное, по мнению Вейнингера. Так намечается новый аспект истории и социологии – биологический. Близким к соотношению 1 : 1 сочетанием противоположных начал объясняется и гомосексуализм, который, по Вейнингеру, столь же легитимен, «нормален», как и нормальная половая жизнь.

8. Женщина. Её рабство

Во второй, главной части – «Сексуальные типы» – биологические начала М и Ж превращаются в характерологические. Два пола – два разных характера. Женская душа всё ещё окружена ореолом таинственности; все заслуживающие внимания описания женского характера – в научной литературе, в романах – принадлежат мужчинам и далеко не всегда достоверны. По существу психология женщины не расшифрована. Автор собирается это сделать.

Никакой тайны тут нет: ключ к женской душе, как и к физической природе женщины, лежит в её сексуальности. Сексуален, разумеется, и мужчина. Но его сексуальность – довесок к его личности. Сексуальность женщины тотальна. Пол пронизывает всё её существо. «Ж есть не что иное, как сексуальность; М – сексуальность, но и кое-что другое». Анатомия демонстрирует эту несимметричность: половой аппарат женщины скрыт в её теле, половые органы мужчины остаются снаружи как некий придаток к его телу.

Отсюда вытекает принципиальная противоположность мужского и женского сознания: одни и те же психические содержания принимают совершенно разный вид. Мужчина преобразует их в чёткие представления и логические понятия, у женщины всё остаётся в диффузной форме, «мысль» и «чувство» нераздельны; мужчина способен психологически дистанцироваться

от сексуальности, женщина – никогда, ибо она вся – воплощение своего пола. Женщина – это раба самой себя. Женщина лишена дара рефлексии, не в силах подняться над собой, ей незнаком универсализм – условие гениальности. Гений может быть только мужчиной.

Здесь нужно сделать одно замечание. «Женщина» в немецком языке обозначается двумя словами: Frau и Weib; автор трактата «Пол и характер» пользуется почти исключительно вторым словом. В современном употреблении Frau – нормативное слово, звучащее нейтрально. Weib вытеснено в нижний слой языка и звучит скорее презрительно («баба»), но имеет и другие коннотации. Этимологически оно связано с глаголом, означающим «закутывать»: у европейских народов индогерманской языковой семьи покрывалом прикрыта невеста. Немецкое слово Weib воспринимается как устарелое, риторическое и выражающее женскую суть. Все эти значения, очевидно, присутствуют у Вейнингера.

9. Чего нет, того нет

В нескольких главах (вызвавших наибольший интерес у серьёзных читателей), рассмотрена связь между самосознанием, логикой и этикой мужчины и женщины. Здесь – та же самая несимметричность М и Ж.

«Toute notre dignité consiste donc en la pensée, всё наше достоинство состоит в мысли... Будем стараться мыслить правильно: вот основа морали». Так заканчивается знаменитое рассуждение Паскаля о мыслящем тростнике. Вейнингер не ссылается на Паскаля (бегло упоминает о нём по другому поводу), но, в сущности, подхватывает этот тезис. Логика, разум – основа нравственности. Не сердце, не интуиция диктуют нравственный закон, а логически упорядоченная мысль. Человек морален, поскольку он одарён способностью логически мыслить. «Вопрос в том, признаёшь ты или не признаёшь аксиомы логики мерилom ценности своего мышления, считаешь ли ты логику судьёй твоих высказываний, ориентиром и нормой твоих суждений». Вопрос, который бессмысленно ставить перед женщиной. Ибо женщине всё это попросту недоступно. Ей «не достаёт интеллектуальной совести». Женщина безответственна и лжива.

«Существо, не понимающее или не желающее признать, что А и не-А исключают друг друга, не знает препятствий для обмана, существу этому

чуждо самое понятие лжи, так как противоположное понятие – правда – для него не закон; такое существо, раз уж оно наделено даром речи, лжёт, даже не сознавая этого...»¹

Вейнинггер придаёт особое значение закону исключённого третьего ($A=A$), так как в итоге дальнейших рассуждений делается вывод, что закон этот имеет фундаментальное значение для самосознания личности. Он означает: я есмь. Я – это я, а не кто-то другой или что-то другое. Верность самому себе, искренность и правдивость по отношению к себе, вот основания единственно мыслимой этики. Такова этика мужчины – но не женщины.

10. Величие и одиночество

После этого (завершая главы об этике) следует любопытное высказывание, пассаж, который перебрасывает мост от Паскаля через Канта к французскому экзистенциализму, к завету героического одиночества перед лицом абсурда; неожиданная, гордая и горестная человеческая страница, лучшая, может быть, во всём сочинении.

«Человек – один во вселенной, в вечном, чудовищном одиночестве. Вне себя у него нет цели, нет ничего другого, ради чего он живёт; высоко взлетел он над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над обязанностью быть рабом; далеко внизу исчезло человеческое общежитие, потонула общественная этика; он один, один! Но тут-то он и оказывается всем; и потому заключает в себе закон, и потому он сам есть всецело закон, а не своевольная прихоть. И он требует от себя повиноваться этому закону в себе, закону своего существа, без оглядки назад, без опаски перед будущим. В этом его жуткое величие – следовать долгу, не видя далее никакого смысла. Ничто не стоит над ним, одиноким и всеединым, никому он не подчинён. Но неумолимому, не терпящему никаких компромиссов, категорическому призыву в самом себе – ему он обязан подчиняться...»

¹ Здесь и далее – перевод автора статьи.

11. Эмансипация наоборот

Женщина – сфинкс? Смешно... «Мужчина бесконечно загадочней, несравненно сложнее. Достаточно пройти по улице: едва ли увидишь хоть одно женское лицо, на котором нельзя было бы сразу прочесть, что оно выражает. Регистр чувств и настроений женщины так беден!»

Существует два основных типа поведения женщины, к ним, собственно, всё и сводится. Ж – это или «мать», или «шлюха», в зависимости от того, что преобладает: установка на ребёнка или установка на мужчину. Проституция – феномен отнюдь не социальный, но биологический или даже метафизический; проституция всегда была и всегда будет; распространённое мнение, будто женщина тяготеет к моногамии, а мужчина – к полигамии, ошибочно: на самом деле моногамный брак – союз одного с одной – создан мужчиной, носителем индивидуальности, человеком-личностью, человеком-творцом.

В самом общем смысле мужчина олицетворяет начало, созидающее цивилизацию: в лучших своих образцах это существо творческое, нравственное и высокоодарённое. Женщина же, напротив, тянет человечество назад, к докультурному прошлому, к тёмным и бессознательным истокам. Ей чужда мораль, она неспособна к творчеству и если выказывает интерес к искусству и науке, то лишь для того, чтобы угодить мужчине: это всего лишь притворство. Мужской воле противостоит женское влечение, мужской любви – бабья похоть, мужскому формотворчеству – женский хаос, нечто бесформенное, недоделанное, расплывающееся... Женщина есть полномочный представитель идеи соития. Коитус, только коитус – и ничего больше! Идеал женщины – мужчина, целиком превратившийся в фаллос. Подлинное освобождение человечества есть освобождение от власти женщины: воздержание.

(Эту обвинительную речь дополняет любопытный пассаж из посмертно опубликованных записок, род самокритики. Мужчина тоже не безвинен. «Она» сумела заронить зло в его душу. Как может он упрекать женщину в том, что она жаждет поработить мужчин, если они сами хотят того же? «Ненависть к женщине всегда есть лишь всё ещё не преодолённая ненависть к собственной сексуальности». Это уже почти признание).

Теперь М и Ж – уже не биология и не психология; теперь это метафизические понятия. Женщина – не только «вина мужчины», воплощение

постыдного низа человечества. Противостояние мужского и женского принимает почти манихейские черты. Свет и тень, абсолютное добро и абсолютное зло. Но и этого мало. Последовательное раздевание женщины – разоблачение злого начала – завершается странным открытием: *там ничего нет*. В главе «Сущность женщины и её смысл в мироздании» говорится:

«Мужчина в чистом виде есть образ и подобие Бога, то есть абсолютного Н е ч т о. Женщина символизирует Н и ч т о. Таково её вселенское значение, и в этом смысле мужчина и женщина дополняют друга». Итак, глубочайшая сущность женщины – отсутствие сущности, «бессущность»; чтобы стать из ничего чем-то, ей нужен мужчина.

12. Коварство Иакова

Венчает эту ахинею глава о народе, который, как выясняется, аккумулировал все отрицательные качества женской души. Это евреи. Не правда ли, мы этого ждали, этим должно было кончиться. Почему? Существует типологическое родство и внутренняя связь между женоненавистничеством и ненавистью к евреям, антифеминизмом и антисемитизмом.

«Существуют народности и расы, у которых мужчины, хотя их и нельзя отнести к промежуточному интерсексуальному типу, тем не менее так слабо и так редко приближаются к идее мужественности..., что принципы, на которых базируется наше исследование, на первый взгляд кажутся основательно поколебленными». Таким исключением являются, вероятно, китайцы (не зря они носят косичку) и уж без всякого сомнения – негры с их низкой моралью и неспособностью быть гением. Евреи похожи на негров (курчавые волосы) и вдобавок содержат примесь «монгольской крови» (лицевой череп как у малайцев или китайцев, лицо бывает часто желтоватым).

Впрочем, речь идёт не о расе и не столько о народе, сколько об особой психической конституции, которая в принципе может быть достоянием не только евреев; просто историческое еврейство – самый яркий и зловещий её представитель. И оно это чувствует: самые заядлые антисемиты – не арийцы, а сами евреи. Вот в чём могла бы состоять историческая заслуга еврейства – предостеречь арийца, постоянно напоминать ему о его высоком достоинстве, о его низменном антиподе.

Еврейство сконцентрировало в себе бабьи черты. Евреи, как и женщины, беспринципны; у них отсутствует тяга к прочности, уважение к собственности – отсюда коммунизм в лице Маркса; у еврея, как и у женщины, нет личности, еврей не имеет своего «я» и, следовательно, лишён представления о собственной ценности, не случайно у евреев нет дворянства. Не индивидуальность, а интересы рода движут евреем – совершенно так же, как инстинкт продолжения рода движет женщиной. Говорят, что рабские привычки навязаны евреям историческими обстоятельствами, дискриминацией и т.п. Но разве Ветхий Завет не свидетельствует об исконной, изначальной низости евреев? Патриарх Иаков солгал своему умирающему отцу Исааку, бесстыдно обманул брата Исава, объегорил тестя Лавана.

13. Народ-женщина. Его триумф.

Еврей, продолжает Вейнингер, противостоит арийцу, как Ж противостоит М. Гордость и смирение борются в душе христианина – в еврейской душе соревнуются заносчивость и лизоблюдство. Не зная христианского смирения, еврей не знает и милости, не ведаёт благодати. Еврей поклоняется Иегове, «абстрактному идолу», полон холопского страха, не смеет даже назвать Бога по имени – всё женские черты: рабыня, которой нужен господин. В еврейской Библии отсутствует вера в бессмертие души. Как же может быть иначе? У евреев нет души.

Высшее качество арийца – гениальность – недоступно еврею совершенно так же, как оно невозможно у женщины. Среди евреев нет и не было великих учёных, нет у них ни Коперника, ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Фарадея. Не и не было гениальных мыслителей и великих поэтов. Называют Генриха Гейне, ссылаются на Спинозу. Но Гейне – поэт, начисто лишённый глубины и величия, Спиноза – отнюдь не гений: среди знаменитых философов нет ума столь небогатого идеями, лишённого новизны и фантазии. Вообще всё великое у евреев – либо не великое, либо не еврейское. Любопытно, что англичане, чьё сходство с евреями отмечено ещё Вагнером, тоже, в сущности, мало дали по-настоящему великих людей.

При всём сходстве евреев с женщинами между ними есть и важное отличие. Женщина верит в Другого: в мужчину, в ребёнка. Еврей хуже женщины, он не верит ни во что.

«В наше время еврейство оказалось на такой вершине, куда ему ещё не удавалось вскарабкаться со времён царя Ирода. Дух модернизма, с какой стороны его ни рассматривать, – это еврейский дух. Сексуальность всячески одобряется, половая этика воспекает коитус...»

Время капитализма и марксизма, время, когда утрачено уважение к государству и праву, время, не выдвинувшее ни одного крупного художника, ни одного замечательного философа, попавшееся на удочку самой плоской из всех концепций истории – исторического материализма. «Самое еврейское и самое женоподобное время». Автор книги «Пол и характер» не устаёт клеймить эпоху, в которой его угораздило родиться и жить.

Но наперекор вконец обнаглевшему еврейству несёт миру свой свет новое христианство. Как в первом веке, борьба требует радикального решения. Человечеству предстоит сделать выбор между еврейством и христианством, между деячеством и культурой, между женщиной и мужчиной, между инстинктом пола и личностью, между тем, что есть ничто, – и божеством. Третьего не дано.

14. Счастливая Австрия

Барон Франц фон Тротта, сын унтер-офицера словенца, спасшего жизнь юному кайзеру Францу-Иосифу I в бою под Сольферино и возведённого в дворянство, смотрит из окна своей гостиной на площадь, где выстроились колонны в белых парадных мундирах австрийской армии. Звучит знаменитый «марш Радецкого» Йоганна Штрауса-старшего. Император в седых бакенбардах, в белых перчатках осаживает коня.

Музыка, в которой слышится танцующий шаг кавалерии, кокетливо-молодецкий марш, отнюдь не воинственный, который так и зовёт шагать, гарцевать, смеяться, побеждать не города, а сердца. Беззаботная душа старой Вены! Латинский стих, ставший поговоркой: *Bella gerant alii, tu felix Austria puibe*. «Пусть другие воюют – а ты, счастливая Австрия, играй свадьбы!» Куда это всё провалилось?.. Старик Тротта умирает в один день с 86-летним кайзером. Его единственный сын, третий и последний барон, убит на фронте. «Марш Радецкого», роман Йозефа Рота, вышедший в тридцатых годах, – это песнь любви к исчезнувшей Двуетной монархии, ностальгическая песнь, между прочим, пропетая евреем.

В огромном рыхлом теле Австро-Венгрии билось три сердца – славянское, мадьярское и, конечно, немецкое: Прага, Будапешт, Вена. На груди государственного двухглавого орла висел щит с бесчисленными гербами, десятки народов и народностей составляли 50-миллионное население империи Габсбургов, с грехом пополам объединившей, кроме собственно австрийских и венгерских земель, Богемию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию, Хорватию, Словению, Фьюме, Боснию-Герцеговину и так далее – полный титул монарха едва уместился бы на этой странице. Не так уж плохо жилось в этой империи, – по крайней мере, так нам кажется теперь, когда мызираем на неё через сто лет, после двух мировых войн, после всего, что было, – как и вообще не так уж плох был этот затянувшийся «конец века». Один только был у него недостаток: это был конец. Гротескная Какания Роберта Музиля, дерзкое словечко, образованное от официальной аббревиатуры k.-k., kaiserlich-königliche, «императорско-королевская», и одновременно папахивающее латинским глаголом *sacare*, который значит то же, что и русское слово «какать», – феодально-бюрократический монстр, страдавший старческим запором, – не выдержал испытаний Мировой войны, рухнул, подобно трём другим империям евроазиатского региона, Российской, Германской и Османской. Австрия, голова без тела, стала духовной провинцией, Германию ждал нацизм, огромная Россия впала в варварство.

15. Парад культуры

Но, как и в России, предвестьем конца был пышный закат. Искусство и мысль существуют в психологическом и интеллектуальном поле, которое можно сравнить с физическим; в иные эпохи такие поля достигают необычайного напряжения. Искусство и мысль обречённой Австро-Венгрии, прежде всего в австрийской столице, переживали неслыханный расцвет. Вейнингер, вещавший: «ни одного большого художника, ни одного крупного мыслителя», был прав с точностью наоборот – достаточно назвать некоторых из его современников и соотечественников. Философ Людвиг Витгенштейн, врач и психолог Зигмунд Фрейд, прозаики Франц Кафка, Роберт Музиль, Герман Брох, Артур Шницлер, Стефан Цвейг, поэты Георг Тракль, Гуго фон Гофмансталь, Райнер Мария Рильке, композиторы Густав Малер, Арнольд

Шёнберг, Альбан Берг, художники Густав Климт, Оскар Кокошка, Альфред Кубин. И так далее, это лишь наскоро составленный список.

То обстоятельство, что больше половины этих избранников были евреями, имеет некоторое отношение к нашей теме. Юдофобство не есть следствие возрастания роли и влияния выходцев из еврейских семей в общественной жизни, экономике и культуре, но оно растёт вместе с ним. В первой декаде XX века в Вене проживало 160 тысяч евреев, восемь процентов населения столицы. Прославившийся своей рачительностью бургомистр Карл Люгер, ставленник католической христианско-социальной партии, обрадовал своих еврейских сограждан изречением: «Es ist alles eins, ob man sie hängt oder köpft». (Какая разница, вешать их или рубить им головы). Георг фон Шёнерер, помещик из Нижней Австрии и вождь «всегерманского движения», додумался до идеи радикально очистить империю не только от евреев, но и от славян и вообще от всех расово чуждых элементов; вопрос: что осталось бы тогда от Дунайской монархии?

Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон Либенфельз возвестил о создании арио-героического мужского ордена светловолосой и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их истребления – и вывесил (в 1907 г.) над своим наследственным замком знамя со свастикой.

Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в австрийской столице, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя излил накопившие на сердце чувства в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шёл, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей... Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в любой форме, особенно в культурной жизни, где бы не участвовал еврей?.. Я начал их постепенно ненавидеть».

16. Женщина 1900 года

Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы

против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое всегда – знак внутреннего неблагополучия и роковой зависимости от предмета вражды) бьют мимо цели.

Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему племени этот ещё не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений и еврейство – две вещи несовместные; и эта одержимость сродни той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу: одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, – ничто. Стоило ли вообще о ней разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью – колоссальной властью. Ничто демонизируется.

Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера – это кошмарный сон о женщине его эпохи.

Во все времена, замечает Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца»), мода произвольно выдаёт мораль и предрассудки общества. Дамский туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело, придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, причёску из бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, воплощает монументальную добродетель и дышит запретной тайной – глубоко запрятанной и раздражённой чувственностью. Открытие психоанализа было бы невозможно без этих мод

Такая женщина вставлена, как в золочёную раму, в перегруженный вещами и вещичками быт; она двигается, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загромождённым вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками с безделушками, среди стен, увешанных полочками, тарелочками, фотографиями, между окнами в тяжёлых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде мужу, который даже не знает толком,

какого рода собственность он приобрёл, но то, что он приобрёл, есть именно собственность. В приличном обществе единственная карьера женщины – брак; если не удалось вовремя выскочить замуж, она становится предметом насмешек.

Что касается молодых людей, то покуда ты не приобрёл «положение», не окончил университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам начинающего чиновника, новоиспечённого юриста или коммерсанта – армия проституток. Так получается, что женщина предстаёт перед ним в двух ролях: либо девица на выданьи, в перспективе – жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь ещё не открыт сальварсан.

Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брех, «весёлый апокалипсис», – это последние дни буржуазной Европы; ещё каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой; спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря, секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны, свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певицы, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях и барах. Ещё выше на иерархической лестнице – дамы полусвета, загадочные гости сомнительных салонов и, само собой, персонал многочисленных борделей.

17. Философия как наваждение

Вернёмся к книге; об её «идейных истоках», связях с современной и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало; здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза аналогию. Оппозиция М и Ж слишком напоминает другую пару, традиционную для немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и бессознательная своевольная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции – жизненным порывом. Но если в

книге Вейнингера разуму – или скорее рассудку – отдаётся решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше анархического бабьего начала, то в двадцатом веке многочисленные эпигоны Ницше становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу её зачинателей.

Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно после Первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух утопии» Эрнста Блоха, «Дух как противник души» Людвига Клагеса, ещё несколько. В этих объёмистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений, излучающих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и поработывают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом философии и науки некую недоброкачественную мифологию.

18. Тень и голос

«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне... Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь» (письмо А.Герберу, август 1902).

Ненаписанная пьеса о герое этих страниц – два действующих лица: О.В. и некто Другой – Doppelgänger, неотвязный спутник; традиционный мотив немецкой литературы. Но не только немецкой. Сцена напоминает пьесу Леонида Андреева «Чёрные маски», где полубезумный герцог Лоренцо сражается со своим вторым Я и убивает его. Убивает себя.

Другой, чей шопот шелестит в мозгу, Другой, напоминающий Тёмного двойника – амплу из театра масок глубинной психологии Юнга, -- не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я – стою на страже морали, разума и порядка, Я сам – логика и порядок. Я мужчина. Он – моя вина и гибель. Он тащит меня к женщине. Он

напоминает мне о моём происхождении, которого я стыжусь. Он мешает мне сознавать себя равным в обществе, единственно достойным меня. Истребить его!

Вейнингер разоблачает женщину и отрекается от еврейства. Но отделаться от себя невозможно, потому что Он – это Я. Ненависть к тёмному спутнику всё ещё написана на лице умершего; любящий Гербер, который отыскал его в морге венской Общей больницы утром в половине одиннадцатого 4 октября 1903 года, вспоминает:

«Ни единого намёка на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице... нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти, – мысль о Зле. Но спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились... и, взглянув в последний раз на мёртвого друга, я увидел глубокий покой вечности».

Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к её создателю, умертвив его на сорок лет раньше, чем ему предстояло умереть.

Эпилог

Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, прихав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью, город не пострадал во время войны. Но когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией, местом рождения стоял один и тот же штамп: О с в е н ц и м.

Кафка был на три года моложе Вейнингера. Ему повезло, он умер от туберкулёза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.

Чёрное солнце философии: Шопенгауэр

*Измучен жизнью, коварством надежды
Когда им в битве душой уступаю,
И днём, и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.*

*И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твоё узнаю, солнце мира.*

Я получил в подарок ко дню рождения два изящных томика – трактат Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung»; мне было 17 лет. Станным образом эти книжки уцелели во всех передрыгах моей жизни.

Стихи Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» можно посоветовать перечитать каждому, кто хотел бы познакомиться с философией Шопенгауэра, вернее, со стилем его мышления. Фет, как все знают, переводил Шопенгауэра. Стихи в свою очередь снабжены эпиграфом из «Parerga und Paralipomena», сборника небольших произведений с трудно переводимым греческо-немецким названием, что-то вроде «Написанное между делом и то, что осталось», – философ издал его незадолго до смерти. По-русски эпиграф к стихотворению Фета звучит так: «Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо».

Я не приглашаю читателя логически продумать эту мысль, хотя она сформулирована по правилам логики. Достаточно, если он заглянет в неё, как заглядывают с обрыва в воду, и почувствует головокружение. Можно ли представить себе более ошеломляющую идею, чем онтологизация сна, предложение взглянуть на действительность из сна, из опрокинутого мира представлений, чтобы убедить себя, что именно он реален, а реальность – сон?

А вот другая цитата: «Понять, что такое *вещь в себе*, можно только одним способом, а именно, переместив угол зрения. Вместо того, чтобы рассуждать, как это делали до сих пор, с точки зрения того, кто представляет, – взглянуть на мир с точки зрения того, *что* представляется». Вещь в себе, понятие, обычно связываемое с именем Канта, означает реальность, о которой

мы можем судить, но которую мы не в силах постигнуть, запертые в клетке нашей субъективности. Все попытки прорваться к действительности наталкиваются на эту преграду. Шопенгауэр предлагает не заниматься бесплодным сотрясанием клетки, но посмотреть на неё *оттуда*, глазами мира, о котором мы лишь грезили *здесь*.

И ещё один образец такого же образа мыслей: метафизика любви. Так называется знаменитая 44 глава второго тома «Мира как воли и представления». «Воля к жизни, – говорится там, – требует своего воплощения в определённом индивидууме, и это существо должно быть зачато именно этой матерью и только этим отцом... Итак, стремление существа ещё не живущего, но уже возможного и пробудившегося из первоисточника всех существований – жажда вступить в бытие – вот то, чем в мире явлений представляется страстное чувство друг к другу будущих родителей, тех, кому предстоит дать ему жизнь и для которых ничто другое уже не имеет значения». Томящееся небытие стучится в мир, точно в запертую дверь. Но это *жаждущее быть* небытие – есть не что иное как сверхреальность.

Никогда больше перемена точек отсчёта не станет таким откровением. Ни в каком другом возрасте всё это мироощущение, вся эта мифология, в сущности, очень древняя, не способны так одурманить и заморозить, как в юности. Томас Манн был прав, говоря, что Шопенгауэр – писатель для очень молодых людей. Ведь он сам был молод, когда пригубил от волшебного напитка его философии, – как молод был и тот, кто изготовил это питьё.

Шопенгауэр родился в Данциге двести с небольшим лет назад, он был сыном богатого и просвещённого купца, который ненавидел Пруссию и переселился в Гамбург, когда Старый Фриц получил во владение Данциг в результате второго раздела Польши. В Гамбурге Шопенгауэр-старший погиб от несчастного случая (возможно, покончил с собой), оставив сыну приличный капитал. Хотя впоследствии часть состояния пропала из-за того, что прогорел банк, это было всё же завидное время, когда можно было спокойно прожить целую жизнь на отцовские деньги в достатке и независимости, презирать политику и не пускать к себе на порог хищное государство, как не пускают сомнительного визитёра. Шопенгауэру исполнилось тридцать лет, когда он предложил издателю Брокгаузу в Лейпциге рукопись трактата, сочинённого в

два или три года в порыве необычайного воодушевления. Это было в марте 1818 года.

Он обещал издателю верную прибыль. «Мой труд – это новая философская система, то есть новая в полном смысле слова... ничего подобного ещё никогда не приходило в голову ни одному человеку». Гонорар, который он требует, – сущие пустяки: 40 дукатов.

Книга была отпечатана под новый 1819 год, и за полтора года удалось продать сто экземпляров. После чего, как было сообщено автору, спрос прекратился. Тираж пролежал без движения пятнадцать лет и, наконец, пошёл в макулатуру. Шопенгауэр пытался состязаться с Гегелем в Берлинском университете и вновь потерпел фиаско: на лекции Гегеля студенты валили толпами, а на курс, объявленный Шопенгауэром, записалось два или три человека. Пережив несколько более или менее неудачных романов (некая горничная даже родила ему ребёнка, который вскоре умер), съездив дважды в Италию, рассорившись с матерью, раззнакомившись с Гёте, философ в конце концов обосновался во Франкфурте и жил там до самой смерти, одинокий и обзлётанный на весь мир; гулял с пуделем и восхищался его интеллигентностью, играл на флейте, обедал в лучшем ресторане и совершенствовал свою систему. Он хотел быть похожим на Канта, которого ставил очень высоко – на второе место после Платона, – но Кант не был мизантропом, не был пессимистом, сладострастно расписывающим мизерию человеческой участи, и не был сибаритом, как Шопенгауэр; Кант вставал до рассвета и умел обходиться очень немногим; что же касается собственно философии, то, выйдя в общем и целом из Канта, Шопенгауэр ушёл от него достаточно далеко, и притом не «вперёд» и не «назад», а в сторону, точнее, на Восток: к индийской Веданте.

Всё же он дожил до дней своей славы и сравнивал себя с рабочим сцены, который замешкался и не успел во-время уйти, когда поднялся занавес. Бывают люди, оставшиеся в памяти молодыми, несмотря на то, что они дожили до седин, а других помнят стариками, словно у них никогда не было юности. Шопенгауэр, чьё имя ставят обычно рядом с именами Ницше и Вагнера, воспринимается как их современник, между тем как его система – ровесница совсем другой эпохи. На немногих дагерротипах он выглядит старцем с недобрый прокурорским взглядом, с двумя кустами волос вокруг лысины и

белыми бакенбардами, и этот образ привычно связывается с его сумрачной философией, которая на самом деле была продуктом весьма небольшого опыта жизни и отнюдь не стариковского ума.

Кое-что помогло этому позднему театру славы: разгром революции 1848 г., крушение надежд (русский читатель вспомнит Герцена), конец революционной, юношеской эпохи в широком смысле слова, закат гегельянства, утрата интереса к политике, упадок веры в историю. Но главным образом сработали качества его прозы, необычный для академической немецкой традиции литературный дар «рациональнейшего философа иррационализма», как назвал его Томас Манн, блеск стиля, похожий на блеск чёрных поверхностей, контраст между тёмно-влекущей мыслью и классически ясным языком. Да и просто то обстоятельство, что второй том «Мира как воли...», выпущенный спустя четверть века после первого тома, оказался более доступным для публики, вроде бокового входа, через который впускают экскурсантов во дворец. Метафизика гениальности, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке – сюжеты, которые вновь обрели притягательность в эпоху позднего романтизма. Всё это сделало Шопенгауэра властителем дум на многие десятилетия; и ледяное дыхание этого демона доносится до нашего времени.

Успех «Parerga» и особенно «Афоризмов житейской мудрости», книги, которую теперь уже мало кто читает, превратил одинокого мудреца в салонного оракула. Не остался незамеченным особый неуловимый эротизм этой философии, к которому общество становилось восприимчивей по мере того, как близился закат столетия, *fin de siècle*. Атака на женщин и ненависть к университетским профессорам принесли философу почти скандальную популярность. «Только мужской интеллект, опьянённый чувственностью, мог назвать прекрасным этот низкорослый, широкобёдрый, коротконогий пол...» и т.д. «То, что скоро моё тело будут грызть черви, с этим я ещё могу смириться; но вот то, что мою философию начнут глодать профессора, – от этой мысли меня бросает в дрожь».

Чуть ли не все комментаторы считали своим долгом указать на несоответствие возвышенного духа этой философии человеческому облику её создателя; однако я подозреваю, что противоречие не так уж велико. В том, что он производил впечатление малоприятной личности, сомневаться не

приходится. Кое-какие истории приводятся в качестве улик. В Берлине, в начале 20-х годов, философ повздорил с соседкой, сорокасемилетней швеёй, дело дошло до рукоприкладства, кажется, он спустил её с лестницы. Суд оштрафовал его на 20 талеров. Швея, однако, утверждала, что получила увечье. Адвокат раздул дело до каких-то невероятных масштабов, на банковский счёт Шопенгауэра был наложен арест, кончилось тем, что он должен был выплачивать этой даме пожизненную пенсию. Когда через двадцать лет она скончалась, он записал в приходно-расходную книгу двойной латинский каламбур: *obit anus, abit onus* (старуха померла, свалилось бремя), прелестно венчающий всю историю. Можно вспомнить ещё несколько подобных анекдотов, не свидетельствующих о примерном поведении. Но что они доказывают? Люди всегда судили об этом человеке со стороны. Одинок в жизни, он был одинок и в историческом смысле, как подобает мыслителю, обогнавшему своё время. Одиночество приводит в согласие, что бы там ни говорили, его жизнь и его мысль.

Устарела ли философия Шопенгауэра? Не более, чем устарел весь XIX век. Не больше, чем устарели Гёте и Толстой. Две черты обличают в Шопенгауэре «классика» – другими словами, делают его философию принадлежностью прошлого: системность и тотальность. Притязание на всеобъемлющую и окончательную истину, уверенность мыслителя в том, что в его руках – универсальный ключ к миру. Система Шопенгауэра – воспользуемся современным термином – это *метанаррация*, грандиозное метаповествование. К такой серьёзности мы больше не способны.

Философия эта изложена в первом томе «Мира как воли и представления», отчасти в книге «О воле в природе». Второй том и всё остальное – лишь дополнения, так или иначе развивающие интеллектуальный миф; автокомментарий, мысли по разному поводу, громы и молнии, стариковское брюзжание, облачённое в изящный литературный наряд.

Что такое мир, что мы можем о нём знать? Всё сущее вокруг нас есть, собственно, не сам мир, не вещи сами по себе, а наши представления о них. Восприятие неотделимо от того, что воспринимают, субъект и объект не существуют друг без друга. Никуда из этого круга не вырвешься. Утверждение, будто единственная реальность – это моё «я», достойно умалишённых, что же касается его противоположности, материализма, то и он попадает в ловушку.

Философ-материалист берёт как некую изначальную данность материю, прослеживает её развитие от низших форм к высшей – человеческому разуму, и тут до его ушей доносится хохот олимпийцев, заставляющий его очнуться, как от наваждения, от своей на вид такой трезвой и реалистической философии: ведь то, к чему он пришёл, чем он кончил, – познающий интеллект, – было на самом деле исходным пунктом его рассуждений! Ум, интеллект – вот кто придумал материю и всё прочее. Итак, представление есть первый и последний философский факт, и пока мы остаёмся на позициях представления, мы не прорвёмся к первичной, подлинной действительности.

Но есть выход. Существует возможность постигнуть мир, вырвавшись из замкнутого круга представлений, и эту возможность предоставляет нам элементарный опыт, на который вся мудрость мира не обратила внимания. Философия приковалась к интеллекту, как Нарцисс – к зеркалу вод; для Декарта мысль – венец бытия, Спиноза, вслед за Ветхим Заветом, даже акт любви величает познанием. У Канта ограниченность разума – клетка, из которой он жадно взирает на мир: неудачный роман с действительностью, неутолённое вожделение интеллекта. Между тем есть одна вещь, о существовании которой мы можем судить непосредственно, вне связи с интеллектом: это наше тело. Моё собственное тело. Оно не только объект, доступный для меня, как все объекты, в акте представления. Но оно в то же время – и я сам. Тело есть *ens realissimum*, наичеvidнейшая реальность.

Как всякий объект, его можно описывать, анализировать, объяснять; в мире представлений это физическое тело. Но, как уже сказано, эта реальность – не только объект. Она не только «представляет собой» что-то, не просто что-то «означает», – она *есть*. Постигаемое в этом качестве, изнутри, по ту сторону всех представлений, моё тело, средоточие желаний, влечений, вожделений, оказывается не чем иным, как *волей*. Воля – вот волшебное слово.

Далее следует мыслительная операция, известная под названием «умозаключение по аналогии». Здесь уместно вспомнить восходящее к поздней античности сопоставление микро- и макрокосма. Микрокосм, или малый мир, – человек – есть отражение макрокосма, то есть Вселенной. Постигание сущности собственного тела – ключ к познанию мира в целом. Как и тело, мир дан нам в представлении. Как и тело, мир должен быть чем-то ещё кроме нашего представления о нём. Чем же? Бесконечное разнообразие объектов,

множественность живых существ, небо созвездий – таков этот мир, но лишь как объективация некоторой сущности, ни к чему не сводимой, вечной, не имеющей начала и конца. По ту сторону представления, за порогом иллюзии, под переливчатым покрывалом Майи – мир всегда и везде один и тот же, мир – «то же, что ты»: воля.

Всякий объект подчинён «четвероякому закону достаточного основания»: чтобы существовать, объект должен *быть* (находиться в пространстве и времени), подлежать закону *причинности* (быть следствием или причиной чего-либо), должен быть *познаваемым*, наконец, если это живое существо, должен подчиняться закону мотивации. Но всё это относится лишь к миру объектов. Вещь в себе – воля – не нуждается ни в каких *raisons d'être*, ничем не обусловлена и не обоснована. Она сама – условие и основа бытия, вернее, она и есть бытие. Мировая воля не знает ни времени, ни пространства, беспричинна, неуправляема и всегда равна самой себе. В таком понимании воля не совсем то или даже совсем не то, что обычно подразумевают под этим словом: не устремлённость к какой-то цели, не свойство кого-то или чего-то, человека, зверя или божества. Воля есть тёмный безначальный порыв – воля к существованию.

С этого момента вдруг становится ясно, что все предыдущие рассуждения – искусно построенные леса, скрывающие сооружение, ради которого они были сколочены. Логическое предварение философско-музыкального мифа. Во всяком случае, для многих, кого увлекла и очаровала метафизика Шопенгауэра – а список этот велик, от Вагнера и Ницше до Пруста, Томаса Манна, Беккета, Борхеса, в России к нему надо прибавить Фета, Льва Толстого, Андрея Белого, Юлия Айхенвальда и мало ли ещё кого, – она была не столько рассудочным построением, сколько авантурой художественного ума, переживанием, близким к тому, которое производит искусство.

Вместе с философом вы стоите на берегу чёрного океана, вы вперяетесь в бездонную первооснову мира. Вас окружает «пылающая бездна», как сказано в одном стихотворении Тютчева, написанном в 1830 году, когда никому не приходило в голову ничего подобного, разве что философу-мизантропу, о котором наш поэт в те годы, конечно, не знал, хотя оба какое-то время жили в одном городе (Мюнхене).

Вы живёте сверхжизнью вашего подсознания; вы находитесь в пространстве сна и постигаете то, о чём не ведают в дневном мире: что этот сон и есть последняя, безусловная действительность. Ночь мира, бушующее чёрное пламя, безначальная воля своевольна, неразумна и зла. И если в уме человека эта воля достигла самосознания, то лишь для того, чтобы втолковать ему, что он бездёлка в её руках, что его существование бессмысленно, безрадостно, безнадёжно. И вообще лучше было не родиться, это знали ещё древние – Феогнид и Софокл. Жизнь – это смена страдания и скуки, скуки и страдания. *Our life is a false nature*, говорит почитаемый Шопенгауэром лорд Байрон, наша жизнь – недоразумение. И даже самоубийство не обещает никакого выхода.

И всё же есть возможность *уйти*. Есть даже две возможности. Одно из решений – погасить в себе волю, отказаться от всех желаний, иллюзий, надежд. Погрузиться в нирвану, как учил Сиддхарта, прозванный Буддой. Об этом поёт Брюнгильда в финале тетралогии «Кольцо Нибелунга», когда горит дом богов Валгалла и надвигаются сумерки мира. Известно, что Вагнер переписал конец. Первоначально в тексте оперного либретто стояло: «Племя богов ушло, как дыхание; я оставляю мира без властителя... Ничто не дарует счастья. И в скорби, и в радости блаженство – только любовь».

Эти стихи были заменены другими. В окончательном варианте Брюнгильда, перед тем верхом на коне броситься в огонь, восклицает:

«Я не веду больше на пир Валгаллы! Знаете ли вы, куда я иду? Я покидаю дом желаний, я навсегда ухожу из мира наваждений, врата вечного возрождения я закрываю за собой. В заветный край, где нет обольщений, к цели всех странствий, покончив с круговращением жизни, ныне устремляется Видящая. Блаженный итог всегдашнего, вечного, знает, как я его достигла? Горчайшая мука любви отверзла мне очи. И я увидела, как гибнет мир».

Но и это ещё не венец всех рассуждений; главное, по закону художественной композиции, припасено под конец. Другая, кроме аскезы, возможность вырваться из-под ига мировой воли – та, которую выбрал сам Рихард Вагнер, к которой приблизился и Шопенгауэр: художественное созерцание, искусство. Несколько неожиданно философ, который развенчал человеческий разум, низведя его до лакейской роли прислужника воли (мы бы сказали – исполнителя велений подсознания), возвращает человеку его

достоинство. Философия, которая хочет не объяснить мир (и уж тем более – не переделать его, как требовал Маркс, – мир не переделаешь), но постигнуть его, не могла не увидеть в искусстве своего рода герменевтику бытия, однако дело не только в том, что что взгляду художника открывается то, что недоступно науке, – «чистая объективация воли», платоновская идея. Дело в том, что художественное созерцание превращает человека в *незаинтересованного зрителя*. Художник обретает свободу. Не от государства, не от общества – всё это пустяки, – свободу от злосчастной воли. «Он их высоких зрелищ зритель».

Теперь – и в заключение – нужно сказать о музыке. Насколько Вагнер превозносил философию Шопенгауэра, настолько её творец пренебрёг музыкой Вагнера. Отверг преданнейшую любовь. Это бывает. «Поблагодарите вашего друга за то, что он прислал мне своих Нибелунгов, но право же, ему не стоит заниматься музыкой. Как поэт он талантливей... Я остаюсь верен Россини и Моцарту!» Эта отповедь была передана через третье лицо. На склоне лет франкфуртский философ играет почти исключительно вещи своего любимого композитора: у него имеется полное собрание сочинений Джоакино Россини в переложении для флейты. Кажется странным, что источником высоких вдохновений и материалом, из которого возникла составившая 52 параграф I тома и дополнение к нему – главу 39 второго тома – метафизика музыки, был всего лишь «упоительный Россини». Почему не Бетховен? Но Шопенгауэр разделял вкусы своего поколения; он был не намного моложе Стендаля, который хотел, чтобы на его могиле было написано: «Эта душа обожала Моцарта, Россини и Чимарозу».

В самой природе музыки есть нечто напоминающее философию Шопенгауэра, рациональнейшего из иррационалистов. Вечно живой миф музыки облечён в строгую и экономную форму – пример высокоупорядоченной знаковой системы, где по строгим правилам закодировано нечто зыбкое, многозначное, не поддающееся логическому анализу, не сводимое ни к какой дискурсии. О чём он, этот миф?

Ему посвящены вдохновенные страницы. Музыка стоит особняком среди всех искусств. Музыка ничему не подражает, ничего не изображает. Если другие искусства, поэзия, живопись, ваяние, зодчество созерцают личины мировой воли, её маскарадный наряд, если, прозревая за эфемерными масками воли вечные объекты, очищая их от всего суетного, художник – поэт или

живописец — лишь воспроизводит их, если словесное или изобразительное искусство возвышается над жизнью, но остаётся в мире представления, если ему удаётся лишь слегка приподнять покрывало Майи, — то музыка сбрасывает покрывало. Музыка — это образ глубочайшей сущности мира. «Не идеи, или ступени объективации воли, но *сама воля*». (Не правда ли, можно усмотреть некоторое противоречие в том, что философ, рисуемый самыми мрачными красками стихию мира — злую, неразумную, неуправляемую, вечно неутолённую, — находит её адекватный образ в жизнерадостной, стройно-гармоничной и ласкающей слух музыке Россини).

Если музыка в самом деле говорит нам о сущности мира и нашего существа, то она оправдывает эту сущность. Недоступное глазу зрелище, о котором невозможно поведать никакими словами. То, о чём не можешь сказать, о том надлежит молчать, изрёк один мудрец, мало похожий на Шопенгауэра, но и не такой уж далёкий от него: Витгенштейн. А музыка может.

К северу от будущего: Хайдеггер и Целан

«Хайдеггер – это долгая история. Муки и катастрофы целого столетия породили эту философию... Из философских соображений он слелался на какое-то время революционером-националсоциалистом, но философия помогла ему и отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна, совращения духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии... Он и в самом деле был очень "немецким", не меньше, чем герой Манна композитор Адриан Леверкюн. История жизни и мысли Хайдеггера – это ещё один вариант легенды о докторе Фаусте. В ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и говокружительная бездонность немецкого пути в философии... Политическое головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того "учителя из Германии", голубоглазого арийца, о котором говорит Целан».

Это – цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского, писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Ницше, Хайдеггере сделали атора известным во многих странах.

Слово Meister означает учитель; другие значения – мастеровой-умелец, выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкант-маэстро; глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец для подражания. Hexenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) – что-то вроде бригадира над ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского намекает на знаменитую «Фугу смерти» Пауля Целана, о которой мы скажем ниже.

Opus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный главный труд «Бытие и время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в 20-х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней студенткой Фрейбургского университета и будущим философом и социологом, автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.

То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы ребёнка. Почему то, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? Что значит – *быть*? Последний вопрос распадается на два. Первый: что

мы имеем в виду, говоря – я есмь, я существую; и второй: в чём смысл моего существования? Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира. Между тем наша жизнь, бытие «вот здесь», не может быть только предметом внешнего рассмотрения, об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Бытие – это мы сами, и, в отличие от «объектов», мы никогда не бываем чем-то готовым и окончательным. Бытие человека включает бесчисленные возможности самоосуществления. Но я своё бытие не выбрал; меня не спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от себя. Мы – это то, чем мы становимся.

Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте – смерть. Время постоянно что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.

Во временности, в том, что бытие «временится», заключён двойной вызов: время открывает перед бытием всё новые возможности, и время превращает его в бытие-к-смерти. Время – это и есть смысл бытия. Вопросание смысла есть «ситуация страха». Анализу страха – экзистенциальной тревоги – посвящён 40-й параграф «Бытия и времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера. Не станем сейчас углубляться в хитроумную, собственного изготовления терминологию Хайдеггера, которая дала повод историку Голо Манну довольно непочтительно назвать его философствование «смесью глубокомыслия с духовным надувательством».

Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая форма бытия включает в себе известный риск: приравниваясь к другим, я теряю себя. Я становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я – это «люди». («Не видите, что ли, – говорили в России пытающемуся протолкнуться в очереди, – здесь люди стоят!»). Теперь я уже «кто-то», *man* Хайдеггера. Фразы «*man sagt*», «*man schreibt*» передаются по-русски безличной формой глагола: говорят, пишут... Но и *man* состоит из таких же поддельных людей, у которых вместо лиц вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа устремлён на близкое будущее. Тоталитарное общество уже на пороге.



Вот краткая хроника: дело происходит во Фрейбурге, в старинном, славном университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего бывшего учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого мая вступает в националсоциалистическую партию, 20 мая подписывает приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в присутствии партийных бонз, министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает студентов и учёных коллег служить делу национальной революции. Всё это сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский переворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер словно под властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской Академии и военно-спортивного стана бойскаутов, – костры, патрули, проверки, вынос знамени под барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а завтра – целый мир»; с помпой, в коротких штанах принимает рапорт некоего доцента, который руководит экзерцициями студентов с деревянными ружьями. Готовится реформа университета, где по примеру всей страны должен быть введён принцип «вождизма».

Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не читал и не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало помалу не то чтобы образумился, но как-то остыл. Политика приелась, административные обязанности обрыдли. Начались трения с партийными инстанциями, интриги коллег. Через год после назначения ректором Хайдеггер подал в отставку.

После войны у него начались неприятности. Философ, внутренне давно порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история опьянения и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не был исключением. Он просто был самым знаменитым из писателей, мыслителей, интеллигентов, поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он этого не сделал. Почему? Из гордости? Или

оттого, что считал своё грехопадение невольным, искренним, в каком-то смысле даже логичным?

Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её сожгли бы в печах. Через много лет она посетила философа и его жену в Шварцвальде. После этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Арендт принадлежит, между прочим, следующее высказывание об учителе из Германии: «Буря, пронизывающая мысль Хайдеггера подобно тому ветру, который тысячелетия спустя всё ещё веет на нас со страниц Платона, – эта буря родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто свершившееся и совершенное – то, что возвращается, как всё совершенное, к глубинам прошлого».

В июле 1967 года Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением увидел свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не видел перед собой такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер. Целан основательно знал философию Хайдеггера, ощущал магнетизм его мысли. Принадлежавший ему экземпляры «Бытия и времени» мспещрён пометками. Помнил он и то, что произошло с Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так это то, что 78-летний философ обошёл заблаговременно книжные магазины города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.

Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII веке. О чём они там беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались одно стихотворение и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное слово...». Надеялся ли гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда же, наконец, знаменитый философ произнесёт своё слово в осуждение Голокауста? Хайдеггер промолчал – и распрощался с Целаном.

Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком известной и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу общим местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и неотвязных воспоминаний о лагерях смерти.

Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
 пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
 пьём и пьём
 и роем могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
 некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
 пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
 пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
 евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
 он отдаёт нам приказ и играет и приглашает сплясать

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
 пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
 пьём и пьём
 некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
 пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
 твои пепельные волосы Суламифь
 мы роем могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
 он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату
 а вы запевайте кричит и играет
 выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
 глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше плясали

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
 пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
 пьём и пьём
 некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
 твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями

Он зовёт играет всё слаще смерть
 смерть наставница из Германии
 он зовёт
 и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу
 в могилу над облаками где лежать не так тесно

Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
 пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии
 пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём
 смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
 выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
 некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
 псов натравил на нас подарил нам
 в воздушных пространствах могилу
 некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
 твои золотые волосы Маргарита
 твои пеплом одетые волосы Суламифь

Перевод, который я решаюсь здесь поместить, далеко не передаёт пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого стихотворения; попробуем всё же просто понять, о чём оно.

Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на гениальных переводах Целана; он замечательно переводил и других русских поэтов: Лермонтова, Цветаеву, Есенина), мы встречаем здесь то, что принято называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов, содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до конца. Стихотворение – сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.

«Фуга смерти», с её расшатанным синтаксисом (не зря она печатается без знаков препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как фуга: голоса подхватывают одну и ту же музыкальную фразу.

Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но, кажется, из ждёт другое: они будут сожжены в печах и невесомым дымом поднимутся в облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой – воспоминания детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки. Лагерь – это немецкая школа, обречённые на смерть евреи – ученики. (Воспитание – постоянная тема немецкой литературы). Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса, пишущий по вечерам нежные письма невесте и играющий на скрипке, – это педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигда нельзя научиться, смерть – учитель из Германии. Сквозь всю ткань стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, – и Суламифь, возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь она сама станет пеплом.

Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября 1920 года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой войны была коронной землёй австро-венгерской империи, затем

отошла к Румынии, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий. Вторым родным языком был румынский (Целан окончил в своём городе лицей имени великого князя Михая), кроме того, как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал английский, древнееврейский, позднее учился итальянскому и португальскому.

Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г. он приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось остаться в Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились: теперь он увлечён романской филологией. В июне следующего года в Буковину вступает Красная Армия, и на один год подданные румынского короля становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и румынские войска. Седьмого июля 1941 года в город прибывает эсэсовское оперативное формирование – Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер, подруга Целана, находит убежище для семьи – маленькую румынскую фабрику; хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что опасность преувеличена. Целан прибегает домой – матери и отца уже нет, они были отправлены в лагерь. Там они и погибли.

Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой лагерь и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в сорок девятом году, поселяется в Париже. Здесь он женился на художнице Жизель Лестранж.

Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные по-немецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Йон Карайон включил их в антологию современной лирики, выпедшую в Бухаресте после войны. Тогда и возник псевдоним «Целан» – анаграмма фамилии Анчель. Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была издана плохо, впоследствии автор включил бóльшую часть стихотворений цикла (в том числе «Фугу смерти») в сборник «Мак и память». Мак, из которого добывается опиум, – это символ забвения; память борется с

жаждой забвения. Вот отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод Вл. Топорова):

Вдруг молния губы сведёт – приоткроется пропасть,
где сломанной скрипки звучанье,
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:
прекрасный тростник, запой!

Любимая, ты ведь тростник,
мы шумим над тобою, как ливни,
вино бесподобное ты – и глубокими чашами пьём,
челнок на полях твоё сердце, но выплывет в ночи
кувшин синевы,
ты склоняешься к нам: засыпаем...

В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них «От порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот дыхания», «Нити солнца», «Насильственный свет». Нелегко перевести самые заголовки этих тонких книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений могут дать представление о сложности адекватного переложения:

«На реках к северу от будущего / я забрасываю сеть, которую ты, / медля, отягощаешь / тенями, что написали камни».

«Не у мох губ ищи свои уста, / не за воротами – чужестранца, / не в глазах – слёзы./ Семейю ночами выше странствует красное к красному, / семейю сердцами глубже рука стучится в ворота, / семейю розами позже журчит фонтан».

«Солнца из нитей / над серо-чёрной пустыней. / Мысль высотой / с дерево / перебирает звуки света: есть ещё / песни, чтоб петь / по ту сторону людей».

Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер, Т.С.Элиот. В 1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную литературную награду в Германии, он произнёс по этому поводу речь, ставшую знаменитой, – благодарный материал для академических словопрений. С годами язык Целана становился всё концентрированней, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность часто ставила читателей в тупик, музыка становилась семантикой, и можно сказать, что его поздняя поэзия уже почти недоступна для перевода на другой язык. В одном стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено выражение *zwei Mundvoll Schweigen*. По аналогии со словом *Handvoll* (горсть) образовано *Mundvoll*, «пригоршня рта». Две

пригоршни молчания, два рта, полных молчания. Невозможно выразить полноту чувства заставляет влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Целана – проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение коронный тезис Хайдеггера: Язык – дом бытия. Может быть, язык – это крематорий бытия?

Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо Леви, как Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фуги смерти» бросился с парижского моста в Сену.

Улица Аси Лацис: Беньямин

«Пер-Вандр, департамент Восточные Пиренеи. 25 сентября 1940 года... Хорошо помню, как я проснулась в каморке под крышей; кто-то стучал в дверь. Протираю глаза и вижу: на пороге стоит наш друг Беньямин, один из тех, кто подался в Марсель, когда немцы вторглись во Францию. Но как он здесь очутился? Милостивая государыня, произнёс он, извините, что потревожил вас. Ваш супруг сказал, что вы можете провести меня через границу...»

О Лизе Фитко (это отрывок из её записок) известно немного: она была свидетельницей последних дней Вальтера Беньямина, писателя, искусствоведа, философа и социолога, автора широко известных книг «Происхождение немецкой трагедии», «Берлинское детство около 1900 года», «Улица с односторонним движением», «Произведение искусства в век технического воспроизведения». Беньямин родился в Берлине в 1892 году, в марте тридцать третьего эмигрировал из Германии в Париж. Он числился в рядах левой интеллигенции, в двадцатых годах побывал в Москве, был евреем. Достаточно, чтобы стать врагом националсоциализма.

Между девятым и тринадцатым июня 1940 г., в дни, когда стало известно о капитуляции Франции, два миллиона беженцев устремляются на юг; вместе с этими толпами бредут пешком, едут на велосипедах по обочинам дорог, тащутся в крестьянских повозках, трясутся на попутных грузовиках немецкие эмигранты. В Марселе Беньямину удаётся получить в американском консульстве въездную визу в Соединённые Штаты. Между тем марионеточное правительство маршала Петена в Виши заключает перемирие с Германией, одно из условий – выдача эмигрантов немецким оккупационным властям, поэтому французы больше не выдают изгнанникам разрешений на выезд из страны. Попытки сесть на пароход в марсельском порту безуспешны. Единственный выход – бегство через Пиренеи. Какие-то знакомые добывают Беньямину транзитную визу через Испанию.

На него имеется досье во французской полиции, действующей по указаниям гестапо в неоккупированной части страны. Беньямину 48 лет. Он страдает заболеванием сердца, у него одышка и отёчные ноги. Через три

месяца, с портфелем, который составляет все его имущество, он добрался до местечка Пор-Вандр, откуда, как говорили, до Испании рукой подать.

На рассвете 26 сентября двинулись в путь: фрау Фитко, ещё одна женщина с сыном-подростком и Вальтер Беньямин. Единственная относительно безопасная дорога – так называемая route Lister, по которой полтора года тому назад пробирались в обратном направлении остатки разгромленных отрядов испанских республиканцев под началом генерала Листера. Десять дней назад этой же горной тропой в Испанию бежал Лион Фейхтвангер; ему удалось сесть в Лиссабоне на американский трансатлантический лайнер, он спасся.

Женщины и мальчик помогают нести тяжёлый портфель. В портфеле – рукопись, которая, как объяснил Беньямин, дороже жизни. Тропинка, едва заметная среди кустов и колючек, идёт непрерывно вверх, солнце стоит уже довольно высоко, на поляне устраивают привал. Беньямин лежит в траве. Немного погодя он объявляет, что дальше идти не в состоянии. Пусть женщины возвращаются. Он останется здесь на ночь, а завтра, дождавшись их, с новыми силами двинется дальше.

На другой день поход продолжается. Беньямин более или менее благополучно переночевал в горах. Через девять часов пути миновали перевал. Пятнадцатилетний подросток и одна из спутниц почти волокут обессиленного Беньямина под гору, осталось совсем немного. Уже позади французская граница. Уже ничего не грозит. Далеко внизу, слева, виден средиземноморский берег – сверкающая гладь моря. Спуск в долину занял два часа. Под вечер беглецы достигли испанского городка Пор-Бу.

Здесь их ожидала мрачная новость. «Мы жили в век Новых Указаний», – пишет Лиза Фитко. Чиновник таможенной службы объяснил, что, согласно приказу из Мадрида, лица, не имеющие французской выездной визы, подлежат возврату во Францию. Женщины и мальчик отправляются в обратный путь. Беньямину разрешено переночевать в деревенской гостинице. Ночью он принял смертельную дозу морфия. Портфель с рукописью – возможно, это было окончание большого труда «Париж, столица девятнадцатого века» – бесследно исчез.

«Я разрешил загадку человека с алфавитом!»

Таинственный продавец букв стоял с лотком у входа на Чистопрудный бульвар и, по-видимому, недурно зарабатывал. К вечеру весь русский алфавит был распродан. Неподалёку на скамейке сидел иностранец, клацая зубами от холода. На другой день продавец явился с новым товаром. Турист купил буквы «В» и «Б». Ася Лацис объяснила: плоские оловянные инициалы с лапками прикрепляются к внутренней стороне галош, чтобы в гостях не спутать свои галоши с чужими.

«Московский дневник» Вальтера Беньямина, опубликованный в Германии через сорок лет после гибели автора, охватывает два зимних месяца 1926–27 гг. Редкий литературный документ воспроизводит с такой свежестью и точностью дух и облик советской столицы тех лет. (Недавно дневник вышел в русском переводе).

По возвращении, в феврале 1927 г., Беньямин писал из Берлина другу, философу Мартину Буберу о том, что его пребывание в Москве продлилось дольше, чем он предполагал. «Этот город, каким он сейчас, в данный момент предстаёт, заключает в себе, говоря схематически, все возможности, прежде всего – возможность крушения революции и возможность её успеха. И в обоих случаях это будет нечто непредвиденное, нечто непохожее на все программы будущего...»

Его мучает холод, незнание языка и уклончивость Аси. Собственно, ради неё он и приехал. И такой же притягательной силой, как эта неуловимая, недостижимая женщина, обладает город, где завязываются узлы европейской истории и, может быть, решается его собственная судьба. Беньямину 32 года. В Берлине у него жена и ребёнок. Но эссе «Улица с односторонним движением» снабжено следующим посвящением: «Эта улица называется *улицей Аси Лацис...*»

Скользкие тротуары, по которым он бредёт в новых галошах, ежеминутно рискуя расквасить себе нос, обледенелые окна шаткого и гремучего трамвая. Мальчишка-беспризорник поёт в вагоне революционные песни, но никто ему не подаёт, «революция лишила нищих социальной опоры»: нет больше буржуа, подававших милостыню. Иней на ресницах у женщин, сосульки на бородах мужчин. Вывески: диковинная смесь греческих и латинских букв. На улицах, несмотря на лютый мороз, стоят торговцы горячими пирожками, яблоками,

мандаринами в бельевых корзинах, прикрытых одеялами, – счастливая пора изобилия, НЭП. Повсюду лавчонки часовщиков – при весьма беспечном отношении русских к времени, которого у них всегда слишком много. Философ ест на улице пирожок, отламывает половинку нищему и решает гамлетовский вопрос: вступать или не вступать в коммунистическую партию?

С актрисой Асей Лацис, «большевичкой из Риги», Беньямин познакомился несколько лет тому назад, вместе путешествовали по Испании и Италии. Осенью 1926 года Беньямин получил известие из Москвы от немецкого режиссёра Бернхарда Райха, ученика и последователя Мейерхольда, о том, что Ася больна: нервный криз или что-то в этом роде. В своих воспоминаниях Ася Лацис пишет, что уже тогда иностранцу приехать в Советский Союз было не так просто. Беньямин добыл себе визу. Тем временем Ася почти поправилась, она находится в полусанаторном учреждении в районе Тверской. Изредка она приходит к Беньямину в гостиницу. Это странная любовь, которая по большей части выражается в идеологических спорах. В конце концов проект стать коммунистом отпадает, вернувшись из СССР, Беньямин уже не возвращается к этой мысли. Через десять лет Ася Лацис будет арестована, проведёт много лет в лагерях и ссылке, надолго переживёт Вальтера Беньямина.

Одна из дневниковых записей начинается словами: «День сплошных неудач». Он явился к Асе с подношением: билеты в Большой театр на балет «Ревизор» по Гоголю. Но Ася не любит балет, это буржуазное искусство. К тому же она занята. Они выходят вместе, сыро, холодно, мимо с грохотом проезжает трамвай, Ася вспрыгивает на площадку, Беньямин бежит за трамваем, напрасно. Она машет рукой и посылает ему воздушный поцелуй.

Накануне Нового года в десять утра Ася заходит за Вальтером, он должен сопровождать её к портнихе. Настроение смутное, разговаривают о пустяках, шёлковая блузка, подарок Беньямина, порвалась при попытке её надеть. За этим следуют другие упрёки: зачем он впутывает Райха в их отношения. Не совсем понятно, идёт ли речь об идейных разногласиях или о чувствах, всё смешано в один клубок; впрочем, Ася относится к так называемым чувствам с нескрываемым презрением: любовь, ревность – всё это пережитки собственнического общества. Вечером спектакль «Даёшь Европу» в театре Мейерхольда. Против ожидания Ася приходит во-время, на ней необыкновенный яркожёлтый платок, стянутый на груди. Гладкие чёрные

волосы разделены пробором и собраны сзади в узел. В антракте они выходят на лестницу, и Ася неожиданно обнимает Бенямина. Или это ему показалось? На самом деле она просто хочет поправить ему воротничок и галстук.

В половине двенадцатого выходят из театра, морозно, снег сверкает под фонарями. Оказывается, Бенямин даже не подумал, где они будут встречать Новый год. Печально и молча он плетётся следом за ней. Они останавливаются перед подъездом, и философ униженно просит эту загадочную женщину поцеловать его напоследок в старом году. Она отказывается. Он возвращается в свой отель, а там – Бернхард Райх с вином и закуской. Райх рад-радёшенек, что Бенямин не у Аси, Бенямин не скрывает радости от того, что Ася не ушла к Райху. И оба чокаются.

Романист и время: Музиль

[Просьба сделать отступы между абзацами]

Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол Стэном Мьюзиелом и вождём итальянского народа Бенито Муссолини. Музилю посвящена одна фраза – пять строк: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвящённая Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство: юность, литературная, ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, мировоззрение, семейная жизнь; учтено всё, включая подхваченный в юные годы сифилис. Место литературы (*M*) в массовом обществе, кумирами которого являются звёзды спорта и политики, а верховным судьёй и расорядителем – рынок, можно, таким образом, описать с помощью уравнения: $M = M(1) : M(2)$, где $M(1)$ – Музиль, а $M(2)$ – Муссолини.

На вечер Музиля в Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки из своего романа «Человек без свойств», пришло 15 слушателей. Человек пять шло за его гробом. Посмертный редактор романа Адольф Фризе составил список отзывов о Музиле. В разные годы разные люди говорили о нём так: сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнётся, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, ничего подобного – может быть, и крупный, но малопрятный человек, одет безупречно, есть деньги или нет – костюм от лучшего портного, туфли первый сорт, считает себя недооценённым, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого, падок на похвалы... И так далее. Однажды это холодное одиночество было нарушено, Музиль написал нечто вроде воззвания к собратьям по перу, под заголовком «Я больше не могу». Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру, инфляция сожрала небольшое состояние, и с тех пор он живёт от одного случайного заработка до другого; нация равнодушна к своему писателю. К короткому обращению (оставшемуся

в бумагах) приложено «Завещание» – в четырёх вариантах. Он работал над этим криком о помощи, как работают над прозой, потому что под его пером всё становилось литературой, как всё, до чего касался фригийский царь, превращалось в золото. Четыре редакции отличаются друг от друга не только стилистически; так же, как главы неоконченного романа, они представляют собой не столько ступени совершенствования, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, – писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность – понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий – кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить т о л ь к о о самом жгучем и наиболее, оказывается банальной, то есть художественно несовременной. Быть с в о е в р е м е н н ы м в литературе значит быть несовременным.

Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году кажется недоразумением. (Об этом конгрессе русский читатель может прочесть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил). Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. «Я, – сказал он, – всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет

призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура – не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».

Услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, Джойс, живший на положении эмигранта в Триесте, говорят, воскликнул: «А как же мой роман?» Автору «Улисса» принадлежит знаменитая формула: *silence – exile – cunning* (молчание, изгнание, мастерство). Прекрасный девиз – если есть на что жить. Существует античный анекдот о том, как Александру был представлен умелец, который умудрился записать на пшеничном зернышке всю «Илиаду». Полубовавшись зерном, царь вернулся к своим делам, но заметил, что человек всё ещё стоит на пороге. Царю объяснили, что мастер ожидает вознаграждения. «А, – воскликнул Александр, – разумеется! Пусть ему выдадут мешок пшеницы, с тем чтобы он мог и дальше упражняться в своём замечательном искусстве». В тридцатых годах в Вене образовалось «Общество Роберта Музиля»: несколько состоятельных людей выразили готовность выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, чтобы он и впредь мог упражняться в своём искусстве – закончить гигантский роман. Сам писатель рассматривал эту помощь как нечто естественное, считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя им

содержать Музиля, и даже проверял, все ли аккуратно платят взносы. После присоединения Австрии к нацистскому рейху Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось бежать из страны. Да и сам Музиль женат на еврейке.

Супруги едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются – но не домой, а в Цюрих; это уже эмиграция. Оттуда Роберт и Марта Музиль перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаж на rue de Lausanne; вещи, книги – всё осталось в Вене, дом погибнет в конце войны, когда Музиля уже не будет в живых. Ему остаётся жить 2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с романом-Минотавром, грандиозным замыслом, который давно уже существует сам по себе и диктует автору свои условия; исход единоборства – ничья.

«Вообразите себе, – пишет он пастору Лежену, – буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным вооружением, от которого остались только мозоли, – и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то, и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах...». Музиль живёт уединённо, не подписывает никаких заявлений и открытых писем, не участвует в манифестациях и не посещает собраний; пожалуй, единственное исключение – упомянутый выше конгресс в Париже.

Между тем начинается война, речи и конгрессы – всё валится в тартарары, вся шумная деятельность предвоенных лет кажется абсолютно бесполезной; Германия и Советский Союз делят Польшку, Франция побеждена и выходит из игры, идёт воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Пирл-Харбор. Музиль сидит над своим романом, действие которого происходит до первой Мировой войны в давно

уже не существующем государстве. Кого может заинтересовать такая книга? Да и сам роман всё больше становится проблематичным – призрачным, как река в пустыне. После того, как Ровольт выпустил в 1930 г. первый том, а в 1932 – второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идёт, и самое имя Музиля постепенно отодвигается в прошлое. «Разве он ещё жив?» Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперёд, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: автор считает, что всё надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше его самого, пытается вскарабкаться на его поверхность, мяч всё раздувается; отдельные главы переписываются по десять и двадцать раз, вороха исписанной бумаги не помещаются на столе. К этому времени произведения Роберта Музиля уже запрещены на территории рейха, но и без этого он забыт, погребён под своим чудовищным произведением.

Гипотезы о том, почему не удавалось закончить «Человека без свойств», сами по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. После Музиля, этого «короля в бумажном царстве», как назвал его Герман Брох, остался гигантский архив черновиков, вариантов, заметок, некоторые стоят целых трактатов. Лёжа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры – и ничего не происходит. В декабре 1939 года Музиль прочёл в газете отчёт о гастролях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они выпускают хриплые крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях. «Сходство с половым актом, – замечает Музиль, – выступает ещё сильнее, когда смотришь на выражение лиц... Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус – то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят коитуса...». Западный человек не может примириться с потерей сознательного контроля. «Иное Состояние» (der Andere Zustand), к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сольётся с бодрствующим сознанием.

Что же совершается в конце концов? Совершается ли что-нибудь? По некоторым предположениям, любовники должны были укрыться на дальнем острове, чтобы там войти в Иное Состояние. Никаких следов реализации этого замысла в бумагах, оставшихся после Музиля, нет. Зато есть такая запись: «То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп – злое, страстное начала, начало вождения, – проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнести к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания». «Теория» – это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», внешне приписанный главному герою, но очевидным образом выходящий за его горизонт; ведь и сам он в свою очередь становится объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж, – ещё немного, и он возьмёт на себя функции всевидящего богоподобного автора-повествователя реалистической прозы XIX столетия. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того, чтобы любить, страдать и вождеть, он без конца рассуждает о страсти и вождении. Одно из объяснений, почему роман не окончен, – крах эссеизма. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, однако я полагаю, что странная неудача несостоявшихся любовников – скорее следствие несостоятельности самой концепции повествования. Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.

Но мы можем считать это и грандиозной победой. В романном пространстве всё становится художеством. Герой и любит, и вождет, и рефлектирует. Или за него философствует сам автор; не важно. Важно то, что у автора рано или поздно возникает чувство, что роман сам диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не

произошло, роман разваливается. «Отнесись к теории реалистически (повествовательно)». Это значит: не превращай её в нечто произносимое извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство – это истина, которая не знает о том, что она – истина. Не поучай читателя. «Теория» (видимый эссеистический компонент или скорее налёт эссеистики), заруби себе на носу, – это тоже «жизнь»; это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество: не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе всё – или уходит.

Всё в жизни Человека без свойств остаётся возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт – попытка достичь экстаза, не покидая царство разума. Загадочное «иное состояние», *taghelle Mystik* – мистика при свете дня, – слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа – сестра-близнец Агата, с которой Ульрих, оставив гротескную общественную леятельность, встречается в доме почившего отца, после того как много лет брат и сестра ничего не знали друг о друге. Но то, что назревает, – инцест, – так и не происходит или, лучше сказать, растворяется в бесконечном незавершённом сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня: *Atemzüge eines Sommertags*. Над этой главой – «Вздохи летнего дня» – писатель сидел с утра 15 апреля 1942 года, в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведённой по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов – вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.

Кlaus Mann

1

Вот один день из жизни этого человека: на дворе декабрь 1932 года. Накануне он прибыл в Лондон, отель «Плаза». Проснулся в полдень. Плотный завтрак, «не такой, как в Париже». За завтраком он читает, потом долго говорит по телефону; парикмахер; встреча с приятелем, вместе выходят из гостиницы. Потом он возвращается, чтобы повидаться с двумя другими знакомыми, вместе обедают; снова чтение лёжа на диване; появляются другие друзья, совместная экскурсия по Лондону, осмотр достопримечательностей, прогулка пешком вдоль Темзы, чай в обществе ещё одного знакомого, разговоры, примерка у дорогого портного, шляпный магазин, встреча с каким-то ирландским другом, оттуда назад в гостиницу, чтение, короткий сон, потом за ним кто-то заходит, театр, куда приезжают ко второму действию, после спектакля новые встречи, ужин в ресторане, споры и сплетни о литературе, затем он едет в ночную турецкую баню, там собирается особенная публика, он не находит никого, кто мог бы его заинтересовать, глубокой ночью на Пикадилли у ярко освещённой витрины знакомится с юным субъектом, который готов к услугам, угощает его, вдвоём едут в гостиницу... И всё это завершается тем, что, проводив гостя, полуодетый, он торопливо заносит впечатления ещё одного дня своей жизни в чёрную коленкоровую тетрадь.

Человека этого зовут Клаус Генрих Томас Манн. Дома его называют Эйси. Но он почти не живёт в Германии, кочует по Европе, одинаково легко говорит на нескольких языках и, по-видимому, везде чувствует себя как дома, — а лучше сказать, нигде. Да и нет у него никакого дома, нет своего очага, Клаус Манн обитает в отелях и пансионах. Он автор книг, театральных пьес, бесчисленных газетных и журнальных статей, но никто никогда не видит его за работой; его старший друг Жан Кокто, вспоминая о нём, говорит: «Это было существование без цели и смысла».

Его знают везде, со всеми знаменитостями он в приятельских отношениях, у него вообще тьма знакомств и, как это всегда бывает у такого человека, очень мало по-настоящему близких людей. В сущности, единственным верным и

преданным другом остаётся старшая сестра Эрика. Жизнь без цели и смысла? Клаус Манн необыкновенно умён, рассудителен, он обладает необычной для его возраста и круга житейской и политической трезвостью. И вместе с тем подвержен наклонности, которая в более мягкой, осторожной и эстетизированной форме мечтательного гомозротизма присуща его отцу. Клаус Манн – красивый парень, у него славное, открытое лицо, светлый взгляд, волнистые волосы. Он погружён в события времени, жадно впитывает впечатления каждого дня, вообще живёт необычайно интенсивной жизнью – и втайне борется с искушением самоубийства. Опять же есть прецеденты в семье: две сестры отца в молодости покончили с собой.

2

Примерно в это время в одной правой газетке появился фельетон под заголовком «Kleiner Mann – was nun?». Это был ядовитый каламбур, имелось в виду название модного в те дни романа Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше», но заголовок можно перевести иначе: «Маленький Манн...» Не просто быть сыном знаменитого отца и почти столь же знаменитого дяди. После своей ранней смерти Клаус Манн был забыт и лишь сравнительно недавно в Германии началась его вторая жизнь.

Он родился осенью 1906 года, в правление принца-регента Луитпольда, в благословенную эпоху баварской истории; облик Мюнхена той поры знаком русскому читателю по новелле Томаса Манна «Gladius Dei» («Меч Господень»). Залитый солнцем, изумительно красивый, богатый и беззаботный город, по которому бредёт в чёрном плаще и капюшоне юный монах и видит в небе карающий меч возмездия. Клаус Манн был рано развившимся ребёнком; и вдруг выяснилось, что в благоустроенном бюргерском доме, где всё было подчинено работе отца, его вкусам и привычкам, всё должно было ходить на цыпочках перед дверью кабинета, где творил Томас Манн, – отнюдь не всё так благополучно, как казалось. Дневник 13-летнего Клауса попался на глаза родителям. Вечером этого дня Томас Манн записал в собственном дневнике: «Не будучи доказательством особой испорченности, его дневник, однако, обнаружил такое бездушие, такую возмутительную неблагодарность, чёрствость и лживость, – не говоря уже о всевозможных дурацких дерзостях,

облечённых в нарочито литературную форму, – что бедное, глубоко разочарованное сердце матери было изранено...»

Несколько лет отрочества сын провёл в интернате для трудных подростков. Там продолжалось всё то же: он дерзил преподавателям; пришлось забрать его домой; другая школа – новые неприятности. Между тем происходили события, перевернувшие мир: европейская война и крушение четырёх империй. В Мюнхене пала 800-летняя монархия Виттельсбахов, спустя короткое время та же судьба постигла эфемерную баварскую советскую республику. В дождливый день 9 ноября 1923 г., в пятую годовщину крушения монархии, чуть было не произошла «национальная революция». Около полудня со стороны Изарских ворот к центру города двигалось пёстрое шествие. Впереди два колонновожатых в коричневой форме несли мокрые знамёна, следом шагали отставной генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф в штатском и бывший ефрейтор Адольф Гитлер. С тротуаров, с балконов глазел народ. При выходе на площадь Одеона, перед королевской резиденцией, демонстрантов встретила полиция, раздались выстрелы. Тщетно генерал Людендорф, стоя посреди площади, призывал Kameraden сплотиться вокруг него. Демонстрация рассеялась, Гитлер удрал в автомобиле – «бежал в своё будущее», как выразился один историк. Вскоре вождь, которого мало кто принимал всерьёз, был арестован и, как мы знаем, отделался весьма мягким наказанием.

3

Клаус Манн стал писателем в детстве. В восемнадцать лет он уже публиковал новеллы, этюды, разного рода отклики на злобу дня. Распространённая ежедневная газета печатала его театральные рецензии. В мюнхенском театре Kammerspiele шла его пьеса «Аня и Эсфирь», – правда, без большого успеха. Зато в Гамбурге она понравилась публике. В пьесе играли сестра Клауса Эрика, дочь популярного драматурга Франка Ведекинда Памела, с которой Клаус был недолгое время обручён, их общий приятель, будущая знаменитость Густаф Грюндгенс, и сам автор, которому только что исполнилось 19 лет.

К этому времени Манн, не закончивший образование, не умеющий долго жить на одном месте, вечно снедаемый, как огнём, внутренним беспокойством и рано дававшей о себе знать тягой к смерти, уже успел усвоить образ жизни, знакомый нам по его дневникам. Он скитается по городам и странам, завязывает бесчисленные, в том числе и сомнительные, знакомства, пишет с лихорадочной быстротой. К 26 годам он автор двух пьес, трёх романов, трёх сборников повестей и рассказов, двух томов написанных вместе с Эрикой путевых записок и автобиографической книги «Дитя этой поры». Тем не менее жить в приличных отелях, обедать и ужинать в ресторанах, предаваться всевозможным удовольствиям на литературные заработки и гонорары за выступления невозможно, он принужден пользоваться регулярной денежной помощью родителей. К этому присоединилось ещё одно обстоятельство: Клаус Манн стал наркоманом. Регулярные пометки в дневнике: Genommen (принял).

Когда весной 1933 года нацистская партия захватила власть, Клаус Манн был, можно сказать, уже готовым эмигрантом. Дело не только в том, что он и так половину времени проводил за пределами отечества, и даже не только в том, что его мать, Катя Манн, была еврейкой, – о чем ему немедленно напомнили. При кажущемся легкомыслии он рано и безошибочно распознал природу нового режима, – раньше, чем очень многие из его старших современников и соотечественников. Клаус Манн сделал выбор – и в немалой степени способствовал решению своего отца, несколько лет колебавшегося, прежде чем окончательно порвать с Третьей империей.

Политическое изгнание, которое разделили с ним примерно 400 немецких писателей, оказалось для Клауса Манна временем наивысших достижений. В 30-е годы он создал свои главные художественные произведения, романы «Бегство на север», «Патетическая симфония», «Вулкан», «Мефистофель». В Нидерландах он вместе с А. Жидом, О. Хаксли и Г. Манном издаёт журнал антифашистской эмиграции «Die Sammlung» («Собрание»), в Америке редактирует литературное обозрение «Decision» («Решение»). Он пытается перейти на английский язык и в 1942 году выпускает мемуарную книгу «The Turning Point» («Поворотный пункт»), впоследствии переведённую им на немецкий под названием «Der Wendepunkt», – возможно, лучшее своё произведение, которое и сегодня читается с захватывающим интересом.

Наконец, став гражданином США, он вступает добровольцем в американскую армию.

Пятого мая 1945 года, на четвёртый день после прекращения военных действий в Италии, Клаус Манн, корреспондент армейской газеты «Stars and Stripes» («Звёзды и полосы»), с двумя солдатами и шофёром выехал в джипе из Рима на север; рассказ об этой поездке содержится в письме к отцу в Калифорнию. Экипаж миновал Берхтесгаден, где «джи-ай» – американские солдаты – усердно грабили бывшую резиденцию Гитлера («жаль, что я поздно прибыл, а то бы и мы поучаствовали»), и выехал на усеянную воронками бывшую имперскую автостраду Зальцбург – Мюнхен. Было утро 8 мая. Рейх капитулировал. Подъехали к баварской столице. Прекрасного города на Изаре больше не было. Весь центр от Главного вокзала до площади Одеона превратился в груды развалин. С трудом добрались до знаменитого Английского сада, самого обширного городского парка в Европе, по мосту короля Макса-Йозефа, не разбитому бомбами, переехали на правый берег и достигли Пошингерштрассе. К своему изумлению, выпрыгнув из машины, Клаус Манн увидел виллу отца, где прошли детство и юность, откуда родители выехали в лекционную поездку по Европе в феврале 1933 г. Дом стоял целый и невредимый

Это была видимость: на самом деле уцелел лишь фасад. Всё остальное – полуобвалившийся остов. Остатки комнат, камин. Это был образ разгромленного, однажды и навсегда упразднённого прошлого. Подняться на второй этаж не удалось, от лестницы ничего не осталось. Как вдруг Клаус, выйдя в сад или то, что когда-то называлось садом, увидел девушку, почти подростка, на балконе своей комнаты. Она жила в этой руине одна, её родня погибла под обломками, жених пропал без вести в России, брат убит под Сталинградом. Она соорудила какое-то приспособление, чтобы подниматься на балкон. Клаус Манн вскарабкался вверх. «Видите, – сказала она, – здесь нечего реквизиовать. Kaputt!».

В обширном литературном наследии Клауса Манна для русского читателя, возможно, представила бы особый интерес «Патетическая симфония». Роман этот, однако, – в такой же мере о Чайковском, как и о самом себе. В мемуарах

«Поворотный пункт» есть несколько замечаний о самоотождествлении автора с его героем. «Я выбрал его... потому что я его люблю и я его знаю. Люблю и его музыку, через неё со мной говорит родная мне душа. Можно ли эту музыку назвать великой? Я знаю только, что она мне нравится. Конечно, я понимаю, что автор чересчур сладкозвучной сюиты из «Щелкунчика» и бравурной увертюры «1812 год» – не Бетховен, не Бах... Но эта проблематичность его гения, эта изломанность его характера, слабости художника и человека – они-то как раз и делают его близким, дорогим и понятным для меня. Его болезненная нервозность, его комплексы и его восторги, его страхи, его взлёты, почти невыносимое одиночество, в котором пришлось ему жить, мука, готовая вновь и вновь преобразиться в мелодию, в красоту, – обо всём этом я мог рассказать, всё это было моё...»

«Да и как мне было не знать всю подноготную, когда и мне ведома та особая форма эротики, которая стала его судьбой... Нельзя преклониться перед нею, не сделавшись чужаком в нашем обществе; и нельзя сознаться в этой любви, не получив смертельную рану. Но не только она превратила моего великого, моего трогательного друга Петра Ильича в изгоя, в парию. Самый характер его таланта, его художественный стиль был слишком многосоставным, слишком мерцающим и многоцветным, слишком космополитическим, чтобы публика где бы то ни была признала его безоговорочно своим. В России считали, что он подпал под влияние Запада, в Германии, наоборот, ему ставили в упрёк „варварскую дикость“, ... Он был изгнанник, он был эмигрант в своей собственной стране – не из-за политики, а из-за того, что нигде он не чувствовал себя дома, нигде не был у себя дома».

Действие происходит в последние годы жизни Чайковского, за границей, и перемежается воспоминаниями композитора о России, о неудачном браке, о томительной любви к племяннику. Искусство как транскрипция и трансформация страдания. Роман – назвать его шедевром нельзя – приближает к тайному миру автора, может быть, больше, чем все его автобиографические сочинения.

Единственная пока что переведённая на русский язык книга Клауса Манна – роман «Мефистофель», об актёре по имени Хендрик Хефген, который согласился проституировать свой талант в нацистской Гфрмании. Высокое покровительство даёт ему возможность совершить головокружительный взлёт,

в конце концов он впадает в немилость. Это роман-ключ: в главном герое без труда узнали великого артиста Грюндгенса, товарища юности Клауса и первого мужа Эрики Манн. В 1934 году Густаф Грюндгенс, непревзойдённый, демонически-двусмысленный Мефисто в «Фаусте I», поставленном в Берлине накануне нацистского переворота, был назначен интендантом (директором) государственных театров столицы и до конца войны оставался на этом посту. Роман был выпущен издательством немецких эмигрантов Querido в Амстердаме. В послевоенное время он стал причиной скандала и судебного процесса, возбуждённого наследниками Грюндгенса.

«Мефистофель», близкий к типу романа-фельетона, может служить образцом художественной манеры Клауса Манна. Она представляет полную противоположность стилю и поэтике Томаса Манна, – ничего похожего на подробную, ветвящуюся, иронически-дистанцированную, рефлектирующую прозу отца, – но зато носит следы влияния дяди, Генриха Манна. Почти все книги Манна-младшего написаны как бы в один присест, стремительным и брызжущим пером. Он пишет короткими фразами и умеет резкими штрихами, в немногих словах набросать силуэты людей и обстановку. Сцены быстро следуют одна за другой, реплики действующих лиц однозначно выражают их мысли и чувства. Романы Клауса Манна напоминают киносценарии с закадровым голосом автора. Его совершенно не интересуют проблемы обновления романной формы; поклонник Андре Жида, он остался в стороне от кризиса классической прозы. Модернизм Клауса Манна проявляет себя разве только в том, что он испытал влияние психоанализа – обычная история для западных беллетристов 20-х и 30-х годов. Он не умеет избежать шаблонов и подчас оказывается в опасном соседстве с тривиальной литературой.

5

Дневник подростка не сохранился. В 24 года Клаус Манн начал вести почти ежедневные записи; расшифрованные и опубликованные полвека спустя, они составили шесть томов – с 1931 по 1949 г.

В 1934 году он отправился в Советский Союз в качестве гостя на первый съезд Союза советских писателей. Несколько странная поездка, – Клаус Манн не принадлежал ни к «пролетарским», ни к сочувствующим коммунизму

литераторам; правда, он успел стать видным представителям антифашистской эмиграции. Вот несколько записей в дневнике (16–27 августа):

«Москва, отель Метрополь... Княжеское гостеприимство. Осмотр города, строительство метро, колхоз. Ужасное впечатление от помещения магазина. Необычайный интерес к литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги...»

«После обеда открытие съезда. Невероятная помпа, толчея, восемь тысяч заводов и фабрик намерены прислать своих представителей... Пропаганда с помощью стенных газет и т.п. Портреты писателей на стенах. Громадные изображения Сталина и Горького. Восторженная встреча Горького, почти то же при упоминании имени Тельмана. Бесконечная речь Горького, говорит еле слышно. Стилизован под патриарха... Тут же сидит правительство: Молотов, Каганович, главнокомандующий войсками и другие...»

«Азиатский пир в Кремле. Бесконечные тосты. Распоряжаются граф Толстой и Кольцов... Литература похожа на армию... Поздно вечером в кино: новый русский фильм „Весёлые ребята,, , мило, а вообще-то ничего нового».

«Ленинград, „Астория,, . В Москве налёт Азии, здесь – Скандинавии. Красивый город. Провинциально, без московского размаха. Эрмитаж: колоссально. Всего прекрасней два Леонардо и Блудный сын Рембрандта. Балет (красивый бывший придворный театр), поразительно старомодная, посыпанная нафталином пантомима. Декорации 1900 года. Удачные танцевальные номера. У публики более буржуазный вид, с пролетарской прослойкой, довольно много иностранцев... Объявление в парикмахерской: „Клиенты с заграничной валютой без очереди,, ».

«Россия: изменения, строительство земного, прежде всего земного – которое так необходимо... Но: сосредоточенность на земном – пренебрежение метафизическим. Творчество как исключительно социальная задача – тогда как у литературы есть и таинственная, отнюдь не целенаправленная функция. Она не может заниматься только коллективизацией сельского хозяйства и тому подобным. Её неисследимые темы – любовь, одиночество, загадка смерти, надежда, последнее счастье...»

В послевоенные годы наступил упадок. Рано созревший подросток, вечный юноша, – но и юность, затянувшаяся до сорока лет, кончилась. Кажется, что Клаус Манн израсходовал свои жизненные силы. Сложные отношения с отцом, которого Клаус нежно любил, но который не умел и не хотел принимать его всерьёз, вылились в почти открытое отчуждение; вместе с тем он, как и прежде, зависел от родителей материально. Эрика ушла к отцу, став его секретарём. Международная политика, всегда имевшая для Клауса огромное значение, заряжавшая его энергией, приняла удручающий оборот: рухнули надежды, связанные с победой на фашизмом, началась холодная война. Умерли близкие друзья Клауса, и подчас ему казалось, что оттуда, из потёмков, они манят его к себе. Наркотик подорвал его психическое здоровье и волю к сопротивлению. В сорок восьмом году Клаус Манн пытался наложить на себя руки, но остался жив. «Дела мои не блестящи, пробую что-то сочинять, но...». Это фраза из письма от 20 мая 1949 года. На другой день, в номере гостиницы в Каннах, он принял огромную дозу снотворного и не проснулся.

Плечом к плечу

Чтобы понять, что такое литература, достаточно прочесть один роман. Чтобы постигнуть искусство парадов, мало увидеть военный парад. Надо отвлечься от всего постороннего: от славы, патриотизма, величия победителя и т.п.

Моей дипломной работой в Академии государственных искусств были шахматы на площади. Кони были живые, слоны принадлежали известной цирковой труппе. Ладьи представляли собой подобия крепостных башен из раскрашенной фанеры на колёсах. На высоких подвижных постаментах под знамёнами стояли полководцы-ферзи, два короля, белый и чёрный, медленно передвигались, сидя под своими балдахинами, под звуки труб, а пешками были молодые солдаты в шлемах и латах ландскнехтов. По обе стороны площади воздвигнуты были трибуны для публики, для удобства выполнения команд буквы и цифры были начертаны на клетках, что же касается шахматистов, то они находились с мегафонами, каждый со своей стороны, на специальных платформах; прибавлю, что меня совершенно не интересовало, кто выиграет.

Успех этой работы, а также некоторые другие обстоятельства открыли передо мной широкую дорогу; после кратковременной работы в одном похоронном бюро и двух-трёх провинциальных театрах я занимался праздничным оформлением улиц, был назначен инспектором, а затем и главным декоратором столицы.

Не буду говорить о достижениях в этой области, о предложенной мною контурной иллюминации зданий, новой системе подсветки портретов и пр. Лучшие, наиболее продуктивные годы я смог отдать любимому делу – композиции парадов.

Многие считают, что я преобразил искусство парадов. Я скромно принимаю эту характеристику. Парад представляет собой синтез искусств: свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, динамика и гармония, пластика и мощь, обдуманное сочетание классической стройности и дисциплины с элементами модерна и даже авангарда, – да, я не стану отрицать, что эстетика современного парада не только нашла в моём творчестве наиболее совершенное

воплощение, но по сути дела создана мною. Спросите: кто отец современного массового зрелища, кто возродил традиции античного народного театра, игр и шествий под открытым небом? Вам назовут моё имя... До сих пор обо мне пишутся диссертации. Изобретённый мною развёрнутый строй вошёл во все руководства. Фильмы с моими работами демонстрируются во всём мире.

В качестве иллюстрации сошлюсь на большой военный парад по случаю 50-летия события, хорошо вам известного и о котором в данный момент нет надобности вспоминать. Дело ведь не в поводе. Повод мимолётен, искусство остаётся. Так вот: в чём главная особенность этой композиции, в чём её оригинальность? Парад начинается с выступления конных барабанщиков, музыка смолкает, слышен только гром барабанов. Они приближаются. Эскадрон построен клином, следом за двумя знаменосцами галопируют три всадника с барабанами по обе стороны седла, за ними шестеро и так далее, причём парад проходит не мимо публики, дипломатического корпуса и трибуны руководителей во главе с вождём, а движется им навстречу! Подъехав к трибуне, знаменосцы опускают свои штандарты... В своё время мне понадобилось немало усилий, чтобы убедить начальство в преимуществах моего проекта: в то время как художественный совет единогласно поддержал меня, а высшая контрольная комиссия, хоть и со скрипом, но дала своё согласие, чины госбезопасности забеспокоились. Меня выручили мои связи.

А затем знаменщики расходятся в стороны. То же делают два фланговых барабанщика, средний вольтижирует на месте, сзади подходят следующие; весь эскадрон разворачивается наподобие веера перед зрителями. Вступает музыка, две колонны военных оркестров расходятся в свою очередь, чтобы уступить место отряду пеших знаменосцев. После чего площадь на короткое время пустеет; звучат команды; весь остальной сценарий вы можете проследить на экране.

Ещё один пример; одна из моих ранних работ... Обратите внимание на этот кадр. Шеренга, плечом к плечу, спускается с парадной лестницы Мемориала побед. Каждый шаг в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Шаг – вспыхивающий блеск сапог – ступенька. Достигнуто абсолютное единство пространства и движения, звука и света.

Можете ли вы мне объяснить, какое отношение это имеет к идеологии?

Я хочу ещё раз подчеркнуть: не надо путать искусство с политикой. В моём лице вы имеете дело с художником. Эти руки привыкли владеть пером и кистью. Они умеют обращаться с чертёжной линейкой, но никогда не касались ножа или карабина. Против меня выдвинуты фантастические обвинения, моё честное имя вываляно в грязи, раздаются требования изъять из библиотек мои теоретические труды. Дело дошло до того, что кое-кто снова, уже в который раз, вознамерился возбудить процесс. Меня хотят упечь в тюрьму. Интересно было бы узнать, где были в те времена эти обвинители!

Не исключено, что они сами были активными пособниками режима, да, я всё больше укрепляюсь в подозрении, что именно они были пособниками – в отличие от меня. А теперь пытаются отвлечь внимание общественности от своего неприглядного прошлого. Старая тактика, вор кричит: «Держи вора!»

Позволю себе заметить, что всю свою историю, на протяжении веков и тысячелетий искусство пользовалось покровительством власти. Так было всегда и везде. Но это не значит, что оно ей служило! Искусство служит людям и самому себе. Напомню, что я даже не был членом партии. Будучи всего лишь скромным композитором парадов, я не имел права находиться на правительственной трибуне. Я никогда не читал произведений вождя! Не говоря уже о классиках революционного учения. Я работал, у меня не было времени этим заниматься. Я не совался в политику. Мне было абсолютно неинтересно, что там написано на всех этих плакатах и транспарантах, что выкрикивали в репродукторы зычные голоса. Свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, стройность рядов и выверенность движений, одним словом – искусство. Вот что было главным, вот что составляло суть и душу моих композиций. Вот задачи, которые я решал.

На меня хотят взвалить ответственность за то, что не имело ни малейшего отношения к моему творчеству. Ответственность – поставим точки над *i* – за некрасивые дела режима. Какой абсурд! Я глубоко сочувствую судьбе погибших. Но я узнал о них только сейчас. В конце концов, мы жили в цивилизованном государстве, где существовали определённые законы, которые надо было уважать. Ошибки, конечно, везде возможны, – назовите мне государство, общество, где царит полная справедливость, нет такого общества! Я полагал, что если кого-то арестовали, значит, для этого есть основания. Я никогда не слышал о концлагерях! Мы, люди искусства, живём в особом мире –

в мире наших замыслов, наших грёз. Согласен, это можно поставить нам в вину. Но тогда уж будьте последовательны: обвиняйте искусство – в том, что верно самому себе.

Литература, философия, – там другое дело. Ответственность писателя за свои слова очевидна. Но для того, чтобы постигнуть искусство парадов, необходимо забыть о лозунгах, отбросить шелуху слов. Ибо в своей глубочайшей сути оно не имеет с ними ничего общего.

Ута, или путешествие из Германии в Германию

Один саксонец умер, попал на тот свет. Апостол Пётр ему говорит: иди вон в то здание, поднимешься на третий этаж, по коридору налево, комната номер такой-то. Там скажут, куда тебя определили. Он пошёл, отыскал комнату, стучится, никакого ответа. Снова постучал – никакого ответа. Потом кулаком. Потом разбежался, вышиб дверь – а там стоит Иисус в славе. «Что, – говорит, – не мог подождать?»

Один солдат дезертировал, его поймали, привели в палатку к королю. Старый Фриц ему говорит: «Как же это ты, сукин сын. Вот, – говорит, – прикажу тебя повесить». Солдат отвечает: «Ваше величество, дела-то наши плохи. Вот я и решил, лучше сбегу, пока не поздно». Старый Фриц подумал и говорит: «Знаешь что. Завтра у нас решающее сражение. Проиграем – побежим вместе».

Одна американка захотела увидеть Бисмарка, приезжает в Берлин, сидит в рейхстаге с переводчиком на местах для публики. Железный канцлер произносит громовую речь, стучит кулаком. «О чём это он?» Переводчик молчит. Бисмарк по-прежнему мечет громы и молнии. «Что он говорит?» – «Терпение, мэм, – отвечает переводчик, – я жду глагола».

Немецкий фольклор

1

В Гессене, в небольшом городе Бебра, ничем не замечательном кроме того, что здесь находится важный железнодорожный узел, я выхожу из вокзала и жду своих друзей, немецкую чету из Рура. Дело происходит в 1989 году. Обед на скорую руку в Гельзенхаузене. После чего мы катим к границе. С двух сторон от дороги стоят столбы, покрашенные в государственные цвета. Краска несколько облупилась. Мало кто помнит историю этих цветов. Во время освободительной войны против Наполеона чёрный мундир с красными отворотами и золотыми пуговицами носил павший в бою под Гадебушем двадцатидвухлетний лютовский стрелок Теодор Кернер, автор воинственных стихов, которого Вересаев ставил выше Дениса Давыдова.

Итак, бывшая германо-германская граница... По существу границы уже нет. Жёлтая полоса наискось пересекает шоссе. Сразу за полосой начинается

другой асфальт, выщербленный, кое-как залатанный. Машина подпрыгивает. Разница двух миров даёт себя знать в первую же минуту.

Холмистая местность, сколько хватает глаз, перегорожена сеткой, видны остатки проволочных ограждений, запретная полоса, уходящие к горизонту сторожевые вышки. Справа от шоссе железная дорога, тоже защищённая сеткой. Тишина и безлюдье, словно мы въехали в загадочную зону из фильма Тарковского. Мы на территории государства, которое внезапно исчезло.

Мы в Тюрингии. Пока ещё, согласно прежнему административному делению, это называется «округ Эрфурт». Но уже чья-то рука зачеркнула слово «округ» и начертала: Thüringen. За холмами начинаются рощи, «страшный Тюрингский лес», как сказано у Новалиса. С севера подступает Гарц, откуда шёл пешком, с палкой и котомкой, геттингенский студент Гейне, направляясь в Веймар, и слушал «шум ручьёв и птичий звон». Увы, ничего больше не слышно. Это кажется непостижимым приехавшему из Западной Германии, молчание ошеломляет, и в дальнейшем, если не считать ворон и воробьёв, наблюдение наше подтвердилось. Птицы покинули этот край, как некогда гномы уходили из обнищавших стран, — чтобы вернуться, когда благоденствие восстановится.

2

Старый товарищ, которому разрешили съездить за границу, написал о своём впечатлении от Германской демократической республики: «Теперь мы знаем, как вы живёте». Я смотрел на это запустение и вспоминал его письмо. Конечно, для нас не было тайной, что уровень жизни в Западной Германии относился к уровню жизни в ГДР примерно так, как жизненный уровень ГДР относился к уровню жизни в Советском Союзе. Немецкий сателлит был прижатым на стороне детищем восточного великана. И всё же степень этого родства, масштабы бедствия — оказались для всех неожиданностью.

Государство Ульбрихта и Хонеккера слыло образцовой социалистической страной. Когда говорили, что эксперимент повсеместно провалился, следовало возражение: а Восточная Германия? Утверждалось, что она даже входит в первую десятку передовых стран мира. Люди рассказывали, что в ГДР нет очередей. В ГДР есть все продукты. В ГДР чистота и порядок.

Чистота и порядок, о, Господи... Но ведь в конце концов вовсе не обязательно, чтобы всё было вылизано. Переехав через Рейн в районе Страсбурга, замечаешь, что на другом, французском берегу не подстрижена трава, торчат клочья бурьяна. А что сказать об Италии, Греции? Но тут вы из Германии приезжаете в Германию. И оказывается, что даже Германию можно превратить в свинарник.

В Лейпциге, проезжая мимо чёрных от копоти домов по широким, тускло освещённым улицам, вдыхая запах бурого угля, которым здесь отапливаются все жилища, думаешь о том, что когда-то, должно быть, это был очень красивый город. На месте рухнувших балконов торчат ржавые консоли. Нет ни одного жилого здания, которое не взывало бы о помощи. В центре города попадаете на глаза табличка: в этом доме квартировал студент Александр Радищев. Памятник старины, охраняемый законом. Берегитесь, возле памятника стоять небезопасно. А напротив громоздятся уже, так сказать, официальные руины – после войны прошло почти полвека. Вас, однако, ожидает испытание похуже: новые районы. Вы спрашиваете прохожего, как проехать, и в ответ слышите охотное и подробное, как в России, объяснение на забавном саксонском диалекте. Центральная улица-дорога в квартале новостроек называется Heiterblickallee, то есть аллея Весёлый Взгляд. Мрачные серо-коричневые блоки, груды мусора. Почти нет магазинов, нет кафе, сумрачно. Аллею, радующую взгляд, пересекает улица Платанов, где нет ни одного дерева, вообще ни единого кустика, да и улицей назвать её невозможно.

Веймар. Как не побывать в Веймаре? Автомобиль с западным номерным знаком, качаясь и подпрыгивая, въезжает в старинную, славную столицу крохотного великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах. Останавливаемся на пустыре под названием «улица Фридриха Энгельса». Неужели он обитал и здесь? Впрочем, колеса по стране, привыкаешь к повсеместному присутствию этих друзей. Точно так же вас преследует повсюду, на юге и на севере, во всех городах и даже в самых дальних деревушках, незабвенный Эрнст Тельман. Третий избранник судьбы, везде оставивший своё имя, – Отто Гротеволь. Вылезает. Напротив, по другую сторону дороги, высится старый и облезлый, словно памятник средневековья, новый дом из шлакоблоков. Мимо, с громом, вздымая прах, катит брезентовый

фургон с надписями по-русски. На тротуаре, вернее, там, где когда-то был тротуар, стоит офицер в травянисто-зелёном кителе и разлтых штанах, – для меня, который год живущего вдали от родины, зрелище ошеломительное. Подойти и заговорить? Но я как-то стесняюсь. Минуту спустя едет ещё один фургон, и ещё один. Для маленького городка поразительно массивное братское присутствие.

3

Всё это, конечно, «западный» взгляд, а что же, собственно, ожидали? Могло быть и хуже. Вы думали, что грязь и бесхозяйственность несовместимы с образом жизни, с психологией этого народа, но нет, это тоже Германия. Правда, русскому гостю бросается в глаза, что вывески учреждений и магазинов – буквальный перевод с «советского». Например: «Продукты» или «Товары первой необходимости». Ведь на Западе товары второй необходимости считаются такими же необходимыми, как и первой.

Выясняется, о, стыд, что кроме этих речений, кроме партийной терминологии и ритуальных приветствий (*mit tschekistischem Gruß*, с чекистским приветом!), аляповатой героической живописи на стенах и в залах официальных учреждений, тайной полиции с её армией «информантов», созданной по образу и подобию Старшего Брата, кроме залитых бензином и смазочным маслом, загаженных территорий, на которых располагались советские войска, – почти полувековая оккупация ничем не обогатила эту страну. Выясняется, правда, и другое: некоторые старые традиции, вопреки всему, не исчезли. Станным образом не удалось уничтожить сельское хозяйство, не выкорчевана церковь, всё ещё жива прусская и протестантская мораль.

Как бы то ни было, это всего лишь первые впечатления. В один из дней мы останавливаемся в Дрездене у пожилой вдовы, в сумрачной квартире с высокими потолками и шкафами, на которых громоздятся пыльные чемоданы, с коридором, забитым рухлядью. Похоже на Москву тридцатых годов; и так же, как в моём детстве нашей соседкой была старушка, о которой говорили, что прежде ей принадлежала вся квартира или даже весь дом, так и дрезденская хозяйка некогда была домовладелицей. После 1949 года в ГДР была установлена низкая квартплата. Бедняки получили возможность жить в

нормальных квартирах. Как не благословить государственный социализм! Но на мизерные деньги, взимаемые с жильцов, владельцы не могли содержать дома, поэтому им было милостиво разрешено подарить свои дома государству. Что, однако, не решило проблему. Таково объяснение обвалившихся балконов, разрушенных подъездов, вонючих лестниц и всего остального.

Старая дама кисло улыбается, произносятся даже какие-то обломки русских слов. Во всех учебных заведениях ГДР русский язык был обязательным предметом. Но и среди молодых людей мне не посчастливилось встретить ни одного, кто сумел бы произнести хотя бы одну фразу по-русски. Ничего удивительного, наши сверстники в СССР тоже почти все учили в школе немецкий, и результат тот же.

Как все, она потрясена внезапными переменами и, кажется, не сожалеет о прошлом. Как все, ненавидит «товарищей». Вообще с языком здесь происходит что-то похожее на то, что приключилось с немецкой речью после войны: рухнувший режим оставил после себя искалеченный словарь. Целый слой запачканных слов, которыми невозможно пользоваться. Слово *Genosse* зафиксировано в памятниках литературы за много веков до возникновения рабочего и социалистического движения. Сколько времени должно пройти, прежде чем это слово восстановит своё звучание и значение? Но в том-то и дело, что с правлением товарищей дело обстоит так же непросто, как и с коммунизмом в России.

4

Кто-то бросил крылатую фразу: Германия становится северной и протестантской. Со времён Реформации и Тридцатилетней войны население бывшей Средней Германии, которая стала после 1945 года Восточной, почти исключительно является евангелическим. Эти земли, за исключением Саксонского королевства, раньше, чем западные приобретения Пруссии, были объединены под прусским владычеством. Слово «пруссачество» (*Preußentum*) вызывает привычные отрицательные ассоциации. «У других государств есть армия, – сказал Мирабо. – В Пруссии у армии есть государство».

Но, может быть, стоит вспомнить, что кроме деспотизма и палочной дисциплины, существовали прусские добродетели. Существовал Старый Фриц

– Фридрих Великий, чей портрет нарисован в «Войне и мире», он носит там имя старого князя Николая Болконского. В семидесятых годах XVIII столетия Фридрих II принял участие в разделе Польши, отхватив изрядный кусок. И, как это ни горестно признать национальному самолюбию, под прусским королём польскому хлопугу жилось лучше, чем под шляхтой.

Кто такой был der Alte Fritz?

Маленький, подвижный, как ртуть, не знающий покоя и отдыха, уверявший всех, что сон – это привычка, от которой можно отучиться, и спавший четыре-пять часов в сутки, король-солдат и полководец, метавшийся от одной границы к другой во время Семилетней войны против обступивших Пруссию со всех сторон войск Большой коалиции, – но также *roi charmant*, обворожительный король, философ, писатель, поэт, музыкант и композитор, чьи произведения исполняются до сих пор, скептический вольнодумец, капризный деспот, вельможа, писавший и говоривший по-французски лучше, чем на языке своих подданных, реформатор и законодатель, истинный основатель прусской Германии, которому, однако претило всё немецкое, – всё, кроме немецкого, точнее, прусского чувства долга. «Король есть первый слуга государства». И, разумеется, каждый чиновник, каждый офицер, каждый юнкер. Это государство слуг и начальств, в котором неслыханная даже для века Просвещения веротерпимость – отнюдь не тождественная политической терпимости – сочеталась с иерархическим и верноподданническим духом, государство, устроенное на военно-дисциплинарных началах и вместе с тем по-своему справедливое, где мужик мог подать в суд на помещика и выиграть процесс, суровое государства, где нет места коррупции, воровству и самоуправству. Государство, которое заслужило того, чтобы помянуть его добрым словом, хотя бы потому, что оно оставило в наследство сегодняшним гражданам Германии туповато-педантичную и достаточно занудную, но честную немецкую бюрократию.

Прибавьте к этому протестантскую этику с её представлением о труде как исполнении религиозного долга, с традицией скромного, почти скарёдного, чуть ли не аскетического образа жизни, – какого-то унылого героизма. Кочуя

по городам и весям вчерашней Германской демократической республики, ловишь себя на еретической мысли. Да, навязанный извне, лживый и бесчеловечный строй; говорили одно, делали другое, стреляли по собственным гражданам, то и дело – недели не проходило – пытавшимся бежать из своей страны любыми способами, по воде и по воздуху, через контрольные посты, сквозь запретные полосы, сквозь ряды проволочных заграждений, по которым пущен ток. И всё же эта страна была не только слугой и союзником главного брата. Не только старательным учеником, государством-тенью, где всё, от облика и образа жизни рядовых граждан до верхних ступеней власти, воспроизводило в умешённом виде Советский Союз. Но она была и потомком Пруссии. Так стареющий правнук вдруг оказывается похожим на портрет прадедушки. Через голову нацистского рейха (у которого ГДР, само собой, тоже многому научилась) она протянула руку в восемнадцатый век, и оттуда, как из могилы, высунулась и пожала честную длань геноссе Эриха Хонеккера старчески-сухая, цепкая рука Старого Фрица.

Честную? Я снова вспоминаю разговоры с пожилой дамой из Дрездена, с научным работником в Восточном Берлине, с женой сельского пастора из области Уккермарк на севере Бранденбурга, с деревенским учителем в Рудных горах.

«У нас был не настоящий социализм».

«Позвольте... но где вы видели настоящий социализм?»

«Это не имеет значения. Важно, что *у нас* его не было».

Все эти люди были более или менее единодушны в своём отношении к рухнувшему строю. Их, однако, возмущали не столько принципы этого строя, сколько то, что они не выполнялись как следует. Негодование было вызвано тем, что в правительство затесались воры и взяточники.

В отличие от русского языка, по-немецки слова «кормило» и «кормушка» не звучат так похоже. Спросите рядового человека в России. Он забыл, что такое кормило, и скажет, что сидеть у кормила – это и значит сидеть возле кормушки. Коррупция верхнего эшелона в бывшей ГДР оказалась для граждан ужасным открытием. Станный народ! Даже если не все исповедовали – по крайней мере, в душе – марксистско-ленинское вероучение, они всё-таки считали своих жалких и изолгавшихся руководителей, этих вождей, устроивших для себя жизнь в общем-то не лучшую и не худшую, чем жизнь

верхушки в других социалистических странах, – людьми долга. Они всё ещё думали, что живут в стране пусть не самой благоустроенной и либеральной, но возглавляемой властителем, который подаёт пример истовой службы государству. То, что в России никогда никого не удивляло и не удивляет, – что страной правит продажное жульё, – для них было неслыханным потрясением.

6

«...Особо упорное ядро демонстрантов вновь и вновь пытается воспрепятствовать рассеянию демонстрации и нацелить шествие на объекты партии, государственного аппарата, а также служебно-административные объекты Министерства Госбезопасности... В Росток и Лейпциге ситуация перед служебными объектами МГБ время от времени обострялась. Небольшие группы провокационно настроенных демонстрантов повторно вызывали инциденты, разжигали толпу посредством хоровых выкриков против МГБ, в том числе и с намерением спровоцировать сотрудников Органов Безопасности на неконтролируемые действия. Также и в других городах имели место перед объектами МГБ подстрекательские выкрики типа: “Сожгите этот дом”, “Свиньи из Штази, выходите”, “Бей их” или “По вас плачет верёвка”. Вследствие этого возникла значительная опасность для Государственной Безопасности и общественного порядка. Кроме того, установлено, что организаторы демонстраций, частью при поддержке церковных сил, всё больше переходят к тому, что захватывают инициативу в свои руки... Подпись: *Милке*».

Таково было одно из последних донесений генсеку Хонеккеру бывшего министра «штази», то есть Staatssicherheit, госбезопасности, – этого волшебного пароля всех деспотических режимов. Органы безопасности в опасности! Пятнадцатого января 1990 г. несколько тысяч человек вломились в здание Главного управления «штази» на улице Номаннов в Восточном Берлине. Помещение взял под охрану гражданский комитет. В блоке VIII, центре всего комплекса, на стеллажах протяжённостью 18 тысяч метров стояли папки с делами на 6 миллионов подданных страны. Почти сорок процентов её 16-миллионного населения.

В саксонской столице мы останавливаемся у бетонной стены, которую сплошь покрывают непочтительные надписи, те самые подстрекательские выкрики. Ворота, куда ещё недавно по ночам въезжали глухо законопаченные фургоны с врагами народа, а днём – бронированные лимузины с чинами главного государственного ведомства, распахнуты настежь. На заднем дворе громоздятся пустые железные стеллажи и картотеки без карточек. Рабочие выносят мебель, письменные столы, за которыми восседали эти крысы.

Штурм и крах цитадели – это символ и традиция европейских революций. Всю нашу жизнь мы видели дивный сон: несчётная толпа запрудила площадь Дзержинского, как некогда парижане – площадь Бастилии. Мужчины и женщины, и ветхие старики, и мальчишки, облепившие памятник, не спускают глаз с молчаливых, мрачных рабочих, которые что-то там делают, разматывают бикфордов шнур. Сейчас крепость взлетит на воздух. Сейчас... В этот момент меня кто-то будит.

7

Но и 89-й, и 2 октября 1990 года позади. Одиннадцать союзных земель «старой» Федеративной республики должны были взять на себя заботу о пяти новых землях: Бранденбурге, Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Мекленбурге – Передней Померании. Наступили хмурые будни. Как и Советский Союз, ГДР была государством, хотя и державшем своих подданных в чёрном теле, но – содержавшем их. Теперь редко какое учреждение обошлось без «фактора 2» – необходимости сократить обоз сотрудников по крайней мере вдвое. Редко какое промышленное предприятие оказалось вообще жизнеспособным. То, что, как выяснилось, вся страна ГДР была банкротом, который рано или поздно слетел бы с копыт и без всякой революции, не утешало: ведь как-то работали, что-то зарабатывали, не говоря уже о привилегированной верхушке. И, наконец, это чувство, что у тебя отняли биографию... Восторг сменился унынием, уныние – возмущением. Начались демонстрации, в Галле канцлера забросали тухлыми яйцами.

Кажется – или могло показаться, – что братание с процветающим соседом сулит Восточной Германии огромные преимущества по сравнению с другими странами бывшего Восточного блока, коллегами по разбитому корыту. Так-то

оно так. А вместе с тем барьер оказался слишком высок, прыгая, можно сломать шею. Куда спокойнее было бы «догонять» какую-нибудь Португалию.

«В Египте мы сидели у котлов с мясом...».

То, что принято называть гражданской и экономической свободой, означает отказ от утопических надежд. Вот цена, которую западное человечество платит за современный образ существования. Потому что свобода личности – это бремя взрослого человека; а мы привыкли считать себя подростками, привыкли быть ими. Потому что свобода для населения, жившего, вопреки заверениям о самом передовом и прогрессивном строе, в прошлом веке, означает внезапный отказ от провинциальности, и это всё равно что вывернуть с просёлочной дороги на гремящую и свистящую от проносящихся на огромной скорости лимузинов, смертельно опасную магистраль: некуда деваться, нужно лететь самому.

8

От Берлина до атлантического побережья Португалии приблизительно такое же расстояние, как от Берлина до Уральских гор. Если, воткнув в Берлин ножку циркуля, провести на карте Европы окружность радиусом в две тысячи километров, то в неё впишется весь или почти весь континент. Другими словами, Берлин – это географический центр Европы.

Чуть ли не на другой день после объединения начались разговоры о том, не перенести ли столицу в Берлин. Сейчас, когда я перепечатаваю эту старую статью, вопрос давно решён. Всё же любопытно вспомнить доводы сторон в споре, который в конечном счёте представлял собой столкновение двух государственных концепций – централизма и федерализма. Оставить столицей провинциальный Бонн значило в большой мере подтвердить верность федералистскому устройству, союзу самоуправляющихся земель и городов, традиционному для Германии. Однако хочется быть «как все». Самая большая по населению в Западной Европе, экономически мощная страна с высоким международным престижем должна, не правда ли, иметь и соответствующую столицу. Берлин – это вертикальное измерение. Бонн – горизонтальное.

Выдвигались и более конкретные соображения. Берлин был столицей Германии после её объединения в 1871 году. До этого он несколько веков был

главным городом Бранденбурга и Пруссии, столицей курфюрстов и королей, а ведь Прусское королевство в конце концов и возглавило объединение немецких государств. В Берлине жили великие писатели, мыслители, художники, музыканты, архитекторы, с Берлином связаны блкстящие эпохи немецкой науки, – а что такое Бонн? Но дело не только в многовековом преемстве. На наших глазах Берлин пережил нечто не имеющее аналогий. Берлин стал символом расколотой Германии. Почти полвека три бывших западных сектора – три четверти города – были островком демократии в тоталитарном мире, анклавом Запада на порабощённом Востоке. Берлин был городом Стены. Берлин стал центром незабываемых событий, грандиозных манифестаций, неслыханного восторга, когда люди плакали и обнимались на огромной площади перед Бранденбургскими воротами, когда тысячные толпы повторяли: «Мы – народ! Мы – один народ!...». Наконец, после того, как обе части страны воссоединились, признание Берлина общенациональным центром должно означать, что бывшая Восточная Германия – не приёмыш, а равноправная часть страны. Таковы были доводы в пользу Берлина.

Кандидатура Бонна казалась мне, однако, не менее убедительной. Перенос столицы – дорогое удовольствие. Кроме того, передислокация на восток означает, хотим мы этого или не хотим, известный геополитический сдвиг. Если когда-то Берлин был действительно географическим и экономическим центром Германии, то сейчас, после потери Восточной и Западной Пруссии, Восточного Бранденбурга, Силезии, Познани, Восточной Померании, Берлин находится на окраине страны. Берлин напоминает не только о прусской славе, он напоминает о прусском милитаризме. Что касается Бонна, то не такое уж это захолустье. Бонн – один из древнейших рейнских городов, вдвое старше Берлина: он был заложен ещё римскими легионерами. С тринадцатого века Бонн был резиденцией кёльнских курфюрстов. Бонн – родина Бетховена. В Бонне был принят Основной закон Федеративной республики; Бонн – это колыбель и столица немецкой демократии. Он удачно расположен, обладает прекрасной системой коммуникаций, в Бонне всё налажено, в Бонне спокойно и уютно. И, наконец, разве так уж плохо, что резиденцией президента и правительства является небольшой город?

Что такое Берлин? Город, который, может быть, станет столицей XXI века, подобно тому как Париж, по выражению Вальтера Беньямина, был столицей

XIX века. Но в наших воспоминаниях это город последних дней войны, цитадель врага, это флаг над рейхстагом, картины, которые и сейчас стоят перед глазами. А где-то в далёком детстве – весёлые строчки Маршака: «Идёт берлинский почтальон, последней почтой нагружён. На куртке пуговицы в ряд, как электричество, горят!»

9

Поедем в Наумбург. К юго-западу от Лейпцига, в долине реки Заале лежит городок, знаменитый своим собором. Если бы понадобилось назвать, допустим, пятнадцать величайших архитектурных сооружений средневековой Европы, то среди них, вместе с готическими храмами Франции и Испании, вместе с соборами в Бамберге и Вормсе, с московским Кремлём и церковью Покрова на-Нерли, был бы наумбургский четырёхбашенный романо-готический собор с двенадцатью фигурами его учредителей.

Вы, конечно, слышали о них, видели их в альбомах, а портал, не правда ли, вам хорошо знаком по копии в Московском музее изящных искусств. В латинской грамоте 1249 года за подписью здешнего епископа упомянуты *primi ecclesiae nostrae fundatores*, «первооснователи нашей церкви». Мастеру из Майнца поручено увековечить их память. Основатели жили за двести лет до того, как была составлена грамота, следовательно, собор возведён в одиннадцатом или в десятом веке.

Каменные статуи в рост человека стоят на высоких карнизах, окружая сзади заалтарное пространство, так называемый западный хор. Мы глядим на них снизу вверх. Об этих людях сохранилось немногим больше сведений, чем о самом ваятеле, чьё имя осталось неизвестным. Они живут не столько в истории, сколько в искусстве. Искусство дарит бессмертие малозначительным деятелям, оставляя в тени великих. Полукругом стоят мейссенские и остмаркские графы Зиццо, Конрад, мечтательный Вильгельм, похожий на миннезингера; далее Дитмар, прикрывший нижнюю часть лица щитом, на котором начертано: *comes occisus*, то есть «убиенный граф», он и в самом деле погиб на поединке. За ним мрачный, как туча, Тимо фон Кистриц, о котором известно, что он получил пощёчину от соперника и жестоко отомстил ему. Застывший с открытым ртом, точно поражённый внезапной мыслью, Дитрих

фон Брена, две одинокие дамы – Гепа, благородная вдова с покрывалом на голове и раскрытой Библией, и грустная Гербурга – и две владетельные четы: слева Герман и Реглиндис, справа Эккегард и Ута.

Маркграфиня Ута фон Балленштедт стоит рядом со своим глуповатым супругом, слегка отгородившись приподнятым воротником плаща, устремив задумчиво-вопросительный взгляд в пространство. Это поразительный образ совсем молодой женщины, – говорят, она рано умерла, – в чьей позе и осанке соединены достоинство и робость, насторожённость и едва уловимое кокетство. И я подумал, что ради одной Уты стоило совершить всё моё путешествие.

Буквы

*Речь, произнесённая в Гейдельберге при вручении премии
«Литература в изгнании».*

От одного старого сидельца я слышал, что московская Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шествие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди дежурный по камере торжественно несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные

сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загнать туда, где обретались мы, и – получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать заключает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания – я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и необратимо оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», – говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо искажился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактура, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплёты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немыслим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперятся Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины – всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата Sefer Jezira (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинён приблизительно в середине первого тысячелетия нашей эры, – из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы – элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, – в нём предопределено всё творение. Алфавит – это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, – облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» – Баал Шем Тов, – который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражен амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, – всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита – Алеф. А я, сказал учитель, помню вторую – Бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.

Немецкий эпилог: неотправленное письмо

Из старых записей

Сон, который не истолкован,
подобен письму, которое не прочли.

Талмуд

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думаю, что подводят меня.

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры – а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливо оставаться. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стenal по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, *taedium patriae*¹ – так можно было её назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, верёвок, цепей и цепещ. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть всё равно где, но только не тут.

И вот удивительный образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джекобса. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни... Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, подала знак – и это произошло. И дивное, ласкающее слух слово : апатрид, *бесподданный*, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно – быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране, но в конце концов дело не в этом. В неотвязном сне, который долго преследовал меня, была только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами,

¹ отвращение к отечеству (*лат.*).

людей, покинувших родину? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». – «Куда?» – «В Мюнхен, – сказал он, – туда же, куда и вы».

Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же – надо ли говорить об этом? – разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну – а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла не в этом, – а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

*

Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «у вас». «В ваших краях...». Смена местоимений – вот к чему свёлся опыт этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели – без помпы, без «битвы за урожай» – убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, – догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только

начинаешь это понимать, как только спохватываешься, всё меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой. Иначе устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди – пожав руку друзьям, обещая приезжать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее я обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами. В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию – какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. *Heimweh is beter dan Holland*, как сказал какой-то соотечественник Мультатули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше подохнуть от тоски по родине, чем подохнуть на родине.

Родина и свобода – две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль, она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, – скажете вы, – тут-то он и выдал себя». Что же, если угодно, считайте, что вы получили ещё одно письмо от Улисса, снедаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. Только в отличие от настоящего Улисса он плывёт не домой, а в обратном направлении.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, – мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словесности за рубежом, мы – фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и *никогда не было*. Был такой случай: году в пятьдесят

втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы» была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в районе станции Сухобезводное будто бы расположен крупный концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование, существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь не только на её глухих окраинах, – утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что мы – призраки, что нас нет, не было и не может быть.

Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, – люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине, – это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции, какие проблемы, если не было никакой эмиграции.

*

Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о

котором ещё не забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше – в плюсквамперфект. Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о *вас* как о мёртвых. Нет, я не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненый в бою, думает, что проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или – уже не в стране. Однако что верно, то верно: *отсюда* отечество представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, во много раз выше, чем в Европе. Словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, – почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них – тысячелетнее царство. Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства губительны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться.

Что же делать? Бесспорно, отъезд – это капитуляция. Толпа вольнопущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяет лишь чувство потери, да великий неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да ещё кошмар возвращения, – вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

*

Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где ты был, Адам?» – я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной головке, с ребёнком на руках, – и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось?..». Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило человека уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, не важно, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные дворы, тёмные лестницы суть не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая называется его жизнью.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых Прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам, – тогда было принято аплодировать в кино, – и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, что собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Пылающая река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.

И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и вострогом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы,

выполнение почти невыполнимых формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что расстаётся с ней, – всё вдруг отсеклось и отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в каморке, где были только стол и два стула, произведён был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, – усмехнулся таможенник, – здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав, мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всеильного государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортпроводниц, последних свидетелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, – заметили вдруг, что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.

*

Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, – единственное, что мы могли предъявить, – оставляла нам неизбежно широкий выбор, или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо пойдёшь, потеряешь коня, налево – голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже

брошен. Говорили, что в Федеративной республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.

Parbleu, почему же Германия?

Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины пятого века. Но туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France* (у каждого из нас две родины: наша – и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит, в Израиль? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всём свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему приучает жизнь в России, баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и всё же никто не мог предсказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить первые шаги – Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы полумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к

отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то ключев тумана, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...». За этими эпитетами, не правда ли, стоит целый комплекс представлений.

Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса – были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой. Бесполезно было бы швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.

*

«Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten...»

«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть.

«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится почти преступлением, ибо он заключает в себе молчание о погибших...

«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, – их было много, – для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если

он жив и всё ещё ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию, например, музыка. «Книга Ле Гран» Гейне, которую я читал в метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь из конца в конец по линии Сокольники – Парк Культуры, потому что дома не горел свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Вюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвига Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу – долина. Я был уверен, что всё это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.

Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.

Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте ландшафта, всё это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно прикатить сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходил с ней и в ней ещё на нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля и Германия в 1871 году, черз каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и усики Шикльгрубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей, музыка из окон, часовня на холме. Трудлюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот нрод стал добычей тоталитаризма, что он был таким, или он стал *таким*, оттого, что стал жертвой тоталитаризма?

Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; а просвещённые немцы должны были это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хоть и насильственно внедрённая победителем на

Западе, не пустила бы глубокие корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.

А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах запоздалого, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция «русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах бросается в глаза – общая тяга назад, в лес и деревню, к средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубь. Существует общее для обеих традиций открепчивание от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и англо-саксонского прагматизма, – тоска по утопии – и там, и здесь. И, как некий убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее разделалась, – чего нельзя сказать о её тоталитарном двойнике. Сонм историков и публицистов, радио, телевидение, печать не устают беречь старые раны; всё упреки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, – что ему страшно возвращаться на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.

*

Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирающее её. Культура – если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», *der Geist*, – и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между шестнадцатью и семнадцатью годами я поднёс к губам запретную чашу с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты, отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть, следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст – возраст чтения философов, – но, в конце концов, почему бы не это? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюблённых есть не что иное, как воля к жизни ещё не зачатого существа. Какая странная, хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда популярного в России, но в наше время уже исчезнувшего с горизонта; осуждённый самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само собой, и Ницше, и Шпенглер, и множество других: самый интерес к этим авторам приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт быть крамольной.

Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько поработал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт, – загадочное родство шрифта и текста есть факт, не подлежащий сомнению, – настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочесть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я постучался к нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием «Чудный вид» (Schöne Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя и скрипучий голос: «Гоните его вон!». Капризный старец, мстительный и самовлюблённый; семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острота, по другому адресу, принадлежит Тютчеву). Разительное противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то зловещий символ. Быть может,

он был предчувствием великого антигуманистического искусства, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене – я снова возвращаюсь к первым дням – мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в Германии, казалось, что улица выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седобородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» – «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было тринадцать лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе германского народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной Армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и

слышать о том, что мы живём в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи, народы мира, трудящиеся всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, – нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских морей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смятение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, *что* происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира помалкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным нашим союзником, словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека. Время неслось наперегонки с наступающим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жестокие морозы – русский Бог спохватился и, как мог, принялся вызволять свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.

Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену – трём четвертям, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии – половине, то остаётся всё же некоторая возможность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался на оккупированной территории? В конце концов это было вполне возможно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.

*

Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе, вблизи Бертесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на него как бы через перевёрнутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти, то были по большей части совсем молодые люди, чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией – сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция были исключениями. Я пробежал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Rußland,

Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, что заполнить лесную поляну где-нибудь недалеко от тех мест, где бродил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, сколько таких полей в России? Наша страна так велика, что в ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем – без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну. Мсть, принимавшая самые отвратительные формы, настигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все уже потому, что они были немцы. Мсть затмила военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом – мсть стояла над ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на запад. Мсть перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие – уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. Одна из последних сводок гласила: «Поле развалин, прежде именовавшееся городом Кёльном, оставлено нашими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний Кёльнский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до города, были разнесены в щепы. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг монастыря и епископства, основанного Карлом Великим в восьмом веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведён такой точный подсчёт, не постигаю. Я побывал в городишке Цербст. В 1745 году свадебный поезд с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в Санкт-Петербург 16-летнюю

принцессу Софи-Фридерiku-Августу, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много лет после войны Цербст, разбитый русской артиллерией, напоминал человека, уцелевшего, но оставшегося без лица. Масштабы кары, поразившей Германию, можно было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. И в эту съёжившуюся, словно шагреневая кожа, прогибаемую всем миром и околаевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных облоаостей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, двусмысленное словечко, брошенное Мартином Хайдеггером.

Современник свидетельствует: «Три года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы были одним из самых обнищавших народов на земле». Было подсчитано, что для того, чтобы разгрести развалины Франкфурта, понадобится тридцать лет. Каждый немец мог надеяться приобрести миску или тарелку в среднем один раз за пять лет, получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм – один раз в 15 лет. Лишь один из пяти новорождённых мог лежать в только ему одному принадлежащих пелёнках, и один из трёх умерших мог надеяться, что его похоронят в гробу. В сорок восьмом году какой-то шутник из Карлсруэ писал, что каждый житель сможет приобрести каждые пятнадцать лет одну поварёшку, каждые 150 лет – умывальник и каждую вечность – одну зубную щётку. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история кончилась или начинается заново на пустом месте.

*

Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в ошолобление нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непередаваемый на язык российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бедный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё скудней, чем на

родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, – синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, – и есть один из секретов богатства. Обалделый чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок благополучия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы обгорелых кирпичей и щебня.

И точно так же раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт.

Coelum, non animus mutant qui trans mare currunt.

Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо – а не душу. А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, – не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но видеть действительность такую, какова она есть, – вообще *видеть* – научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигрантов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность – не что иное, как зеркальное отражения собственной неспособности а часто и нежелания) понять живущих здесь.

Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в мюнхенском театре Kammerspiele (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад» в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в несуразных костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного

погода Гаев обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!». Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопехин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия – воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России).

Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру, «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком набитый зал, зрителей, зачарованных странным спектаклем. Если существует русский Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую *мы* считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно – до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не повалятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная, продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.

Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла конструкции, с которыми прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику Овидию, что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужезем, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации, – почувствовать, да – чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно догадываться лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии – по крайней мере для нас – состоит уже в том, что этот Фенкис восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсёгда низвёл бы любую другую страну на уровень третьестепенного провинциального существования. Загадка Германии – это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному – с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, – предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна – как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово «немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставлявшая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке,

страна-педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неутомимых рук. Но садовника нет.

Борис Хазанов. **Миф Германия.** Статьи и этюды.

182 станд. компьют. стр., в среднем 65 знаков в строке, с полуторным интервалом. Каждая статья – с новой стр.

Три последних столетия политическая и культурная история нашей страны тесно связана с историей Германии. Общеизвестна роль немецких учёных в организации первого русского университета и российской Академии Наук; система образования, ремёсла, торговля, администрация, вооружённые силы и военное дело – во всех этих областях выходцы из Германии сыграли выдающуюся роль. С середины XVIII века все русские царицы, за единственным исключением, были немками; династия, носившая имя Романовых, после смерти Елизаветы Петровны стала Гольштейн-Готторпской. Количество немецких научных, технических и военных терминов, вообще слов немецкого происхождения в русском языке огромно. Немецкой философия, литература и музыка традиционно составляют неотъемлемую часть духовного багажа всякого культурного человека в нашей стране.

С другой стороны, в немецком сознании Россия и русские занимают совершенно особое место. В XVIII и XIX веках в Россию переселилось множество немцев всякого рода и звания: для них эта огромная страна была обетованной землёй неограниченных возможностей. Можно говорить о культе России и всего русского в Германии. Этот культ жив, вопреки страшному опыту войны.

Книга Бориса Хазанова составлена из статей и эссе, написанных в разное время и по разному поводу. Их объединяет общая тема близости и противостояния обеих стран. Германия как объект безграничного восхищения и как воплощение inferнального зла – обе крайности, так хорошо знакомые нашим соотечественникам, свидетельствуют об этой близости. Очерки, посвящённые главным образом именам и событиям только что угасшего века, создают политическую и культурную панораму Германии, а заодно и всего немецкоязычного региона Западной Европы. Эта панорама соотнесена с русским соседом, с отечественной проблематикой – равно как и с жизненным опытом автора. Тексты Б.Хазанова принадлежат русскому писателю, который знает немецкий мир изнутри, и рассчитаны на широкую и любознательную публику. Впрочем, они могут быть полезны и специалистам.

Борис Хазанов (1928) родился в Ленинграде, вырос в Москве. Изучал древние языки и античную филологию в Московском университете, в 1949 г. был арестован по политическому обвинению, отбыл срок в лагере, окончил медицинский институт в Калинин (Тверь), работал врачом в деревне, затем в Москве, был участником литературного и философского Самиздата и подвергся новым преследованиям; писатель, переводчик, автор романов, рассказов, эссе, опубликованных в России и во многих зарубежных странах. Член интернационального ПЕН-клуба и лауреат нескольких литературных премий. С 1982 г. живёт в Мюнхене.